

ВЕДЯНА



СКАЗАНИЕ
О ЛЮДЯХ,
ЖИЗНИ,
ВЕРЕ
И ЛЮБВИ

ИРИНА БОГАТЫРЕВА

Этническое фэнтези

Ирина Богатырева

Ведяна

«ЭКСМО»

2020

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Богатырева И. С.

Ведяна / И. С. Богатырева — «Эксмо», 2020 — (Этническое фэнтези)

ISBN 978-5-04-113590-4

Так начинаются многие сказки: герой-сирота, оставшись у разбитого корыта, спасает волшебное существо, и оно предлагает исполнить три желания. Но кто в наше время в такое верит? Не верил и Роман Судьбин, хотя ему тоже рассказывали в детстве про духов реки и леса, про волшебную дудку, про чудесного Итильвана, который однажды придет, чтобы помочь итилитам... Но итилитов почти не осталось, не исключено, что Рома – последний, их традиции забыты, а культура под эгидой сохранения превращается в фарс в провинциальном Доме культуры. Может быть, поэтому Рома и оказался совершенно не готов, когда девочка, которую он дважды отбил у шпаны, вдруг обернулась тем самым чудесным существом из сказки и спросила: «Чего же ты хочешь?» Он пожелал первое, что пришло в голову: понимать всех. Он и представить не мог, чем это может обернуться.

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-113590-4

© Богатырева И. С., 2020
© Эксмо, 2020

Содержание

Пролог	6
Часть 1	8
Глава 1	8
Глава 2	23
Глава 3	39
Глава 4	50
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Ирина Богатырева Ведяна

Н.С.



© Богатырева И., 2020

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020

Пролог

В то утро Судьбин был богом.

По крайней мере, чувствовал себя как бог.

Стоя за углом Итильского дома культуры (нового здания), у запасного выхода, в тени, он с удовольствием констатировал: да, я бог. Потому что только недавно этого мира не было, его вообще не существовало, и вот он появлялся во всем разнообразии своих форм, и созерцать этот процесс было очень приятно.

Так, уже вполне зримо проявился Дом культуры (новое здание) и плотная, прохладная тень за ним; заняли свои места и площадь, и соседнее здание администрации (во всяком случае, его фасад, за остальное Судьбин ещё не ручался), тополя по периметру, гул троллейбуса, подруливающего к остановке, и воробьи, копошащиеся в пожухшей траве на газоне. Да, этот мир был заштатным, он не претендовал на новизну, и всё же был приятен в своей простоте и любим сейчас так, как удавалось его любить далеко не каждый день.

Утро, к слову, вышло какое-то особенно замечательное: ясное, будто умытое, полное тугой силой позднего лета, оно само по себе вселяло надежду на что-то, так что даже не хотелось думать, на что именно. И всё, что было накануне: и вынужденная побудка, и предстоящий разговор с начальством, – всё как будто отодвинулось и казалось сейчас неважным. С лёгким сердцем Судьбин стоял и наслаждался, ни о чём не думая, глядя из-за угла на площадь.

Она уже успела прогреться. С остановки и от стоянки, которой за зданием не было видно, шли люди. Часть из них направлялась прямо, в администрацию, другая сворачивала в ДК. Судьбин развлекался тем, что по внешнему виду, по походке и вообще старался догадаться, в какую сторону человек пойдёт: к карьере и деньгам – в администрацию, или свернёт в ДК, где ничего этого не предполагалось и только слегка шевелилась хтоническая жизнь народной культуры. С такого расстояния узнать никого он не мог, поэтому эксперимент считал чистым. Когда же в последний момент незнакомая фигура вдруг оборачивалась бухгалтершей из третьего кабинета, электриком Петровичем, бодрой хареографией или не менее бодрым баянистом, он же руководитель хора пенсионеров, он же заворгчасть, – это только убеждало Судьбина в том, что процесс восстановления запущен, реальность скоро соберётся окончательно, понятная, знакомая до икоты, такая же, как день, и два, и неделю назад. Ничего не меняется. Но сейчас эта мысль не наводила тоску, за что он грешил на свежесть утра и отсутствие мыслей в пустой, будто проветренной голове.

Вдруг снизу, с улицы бывш. Спасской, бывш. Луначарского, ныне Спасской вновь, невидимой отсюда, грянули и полились бравурные звуки школьного вальса. Судьбин вздрогнул. Реальность поставила последнюю точку, восстановив календарь: первое сентября. Там, на спуске к Итили, на залитой солнцем школьной площади начиналась торжественная линейка. Шеренги перед музейным, ветхим, но ещё молодящимся зданием школы № 1 (ныне, кстати, снова гимназии, как во времена Кривошеина), шарики-букетики, первоклашки с бантами, мамочки-бабушки с телефонами и папы с тяжёлыми фотоаппаратами, короткие юбки поверх загорелых коленок у старшеклассниц, прокуренный ржач молодых кобелей в задних рядах... Выход директора, выход завуча, имитация первого звонка – плечистый старшеклассник с какой-нибудь пигалицей на руках рысью пробегает вдоль рядов, и пронзительно-противный колокольчик у пигалицы звенит в самое ухо, а белый бант её застит глаза. И бедный старшеклассник при каждом шаге думает только о том, как бы не навернуться, превратив пафосную мистерию в фарс.

Не навернулся. Хотя как посмотреть. Может, это такое затяжное падение, начавшееся тринадцать лет назад во дворе школы № 1 на улице бывш. Спасской, бывш. Луначарского, ныне Спасской опять. Судьбину отчётливо представилось, как, взмахнув ногами, летит он по небе-

валой траектории, огибает Землю, проносясь над Питером, Мюнхеном, Бостоном, Нью-Йорком, Парижем, и куда ещё его заносило, а шмякается снова здесь, у заднего входа Итильского дома культуры, где он уже тогда, тринадцать лет назад, подрабатывал помощником звукорежа.

И тополя всё так же хлопают над площадью. И воробьи шебуршат в траве. Разве что у ДК новое здание, а старое, куда он бегал после уроков, отживает, заколоченное, на другой стороне площади. А в том, что феноменальный по нелепости полёт закончился, сомневаться не приходилось. Потому что, если ты один раз не смог уехать, второй раз не вырвешься. Дед говорил: Итиль своих не отпускает. Дед это хорошо знал.

– Дядь.

Судьбин вздрогнул снова и обернулся. Он так задумался, что не заметил, как в реальности нарисовался пацан лет девяти. Недобрыми глазами он смотрел снизу вверх и явно собирался кланяться.

– Дядь, – повторил он охрипшим от стеснительности голосом, – дядь, а...

– Курить вредно, – перебил его Судьбин.

Малец надулся.

– Вам-то чё, свои же курю.

– Это без разницы. И вообще, почему ты здесь, а не на линейке?

Пацан надулся пуще прежнего. Опустил глаза, явно матерясь про себя, и готов был уйти, но Судьбин его остановил:

– Ладно. Давай так. Ты можешь у меня что-то попросить, я сегодня добрый. Но только одно желание. И только то, что ты на самом деле хочешь. Прямо сейчас.

– Чё? – пацан растерялся.

– На счёт «три». Раз...

– Чё, прямо любое, что ли?

– Два...

– А если у вас не будет?

– Три.

– А конфету! – выпалил пацан с детским азартом.

Судьбин довольно ухмыльнулся. Всё-таки в это утро он был богом. Спокойно, с чувством собственного достоинства, полез в карман и покровительственно положил на ладонь мальчика конфету «Му-му» в обёртке с пятнистой коровой.

Парень захлопал глазами. Судьбин с ухмылкой наблюдал за ним. Но прежде чем тот раскрыл рот, чтобы спросить что-то ещё, назидательно произнёс:

– Всё, парень, своё желание ты уже израсходовал.

Развернулся и вошёл в ДК.

Часть 1 Свой

Глава 1

По задней лестнице, никого не встретив, он поднялся на третий этаж и оказался позади актового зала, у гримёрки и реквизиторской. Отношение к пространству у архитекторов нового здания было весьма модернистское, поэтому в молодом ДК получилось много коридорчиков, заканчивающихся тупиками, комнат без окон, а также прекрасная задняя лестница, которой никто не пользовался, потому что она была неудобной, как ни крути. Да и вообще мало кто совался во все закоулки: за те два года, что ДК переехал, люди как будто ещё не обжились в нём. Один Рома в первые же дни изучил и облазил всё здание, узнал каждую потайную комнату и задний ход, исследовал чердак и подвал и теперь ощущал себя настоящим гением места, потому что мог попасть из любой точки в любую, не встретившись с кем не надо.

А часто бывало так, что ни с кем не надо.

У гримёрки был туалет, и он свернул туда. Надо бы привести себя в себя прежде, чем окунаться в работу. Припав ртом к крану, долго пил, сопя, как лошадь, потом самозабвенно умывался, представляя, что погружает лицо в чистый ручей, потом поднялся и не менее долго рассматривал себя в зеркало.

– Красавец, – выдал наконец, изучив свою физиономию: всклокоченные волосы, оловянные глаза, бледное лицо с неестественным румянцем от холодной воды. – Пили, Роман Никитич, признайтесь честно? – Отражение помотало головой. – И кто тебе поверит? – Отражение горестно пожало плечами. – То-то. А Настучалло не дремлет.

Отражение развело руками и отвело глаза. Рома с осуждением посмотрел на него, потом махнул рукой и отправился в рубку. Нервничать из-за собственного внешнего вида не было настроения: он всё ещё нёс в душе приятное чувство творческого опустошения после вчерашнего вечера в рубке, и на остальное было плевать.

Однако иначе, чем через зал, на рабочее место отсюда было не попасть. Войдя, Рома столкнулся с Тёмычем, который торчал в узком проходе у сцены с двумя бухтами проводов, отрывал зубами кусок изоляции и умудрялся при этом материться.

– Ка-акие люди! – воззрился он на него и тут же ухнул к ногам обе бухты и всучил изоляцию. – Я уж думал, ты свалил нахрен, болеть сегодня будешь. На вот, мне надо вокальник на третий канал, а где у тебя тут что – без поллитры...

– А что сейчас?

– Как что? Прогон по номерам, вечером концерт!

– Какой? – удивился Рома. – У меня вечером кино, с чего концерт?

– Ну, не вечером, днём, в три часа. Это, вот. – Тёмыч постучал пальцем с заточенным ногтем по приклеенному на стену списку номеров. Когда-то Тёмыч пытался быть гитаристом, от того времени остались только длинные ногти на левой руке, за которыми он следил щепетильно, как Онегин. Больше, кажется, он ни за чем в жизни так не следил. – «День знаний», концерт для заслуженных работников образования. Заслужили, доработались.

– А, ну хорошо, хорошо, – примирительно сказал Рома, не желая спорить с существованием образования и его работников. – Сейчас всё сделаю. Пару сек, пожрать только метнусь.

Он попытался просочиться мимо Тёмыча, но тот отстранил его грудью. Хотя Тёмыч был тощий и высокий, как жердь, наглости в нём было в три раза больше, чем веса.

– Какой жрать? Пить надо меньше! Там «Просторы» уже всю того, они тебе сейчас чё, в пустоту петь будут?

Для убедительности он откинул занавес. На сцене и правда уже стояли «Итильские просторы» – образцово-показательный коллектив народной песни: тётя Маша, тётя Лариса, Наталья Петровна, поющая знатным басом, и бодрый баянист Слава. Он сидел у края сцены и что-то наигрывал, а солистки пока без дела торчали перед пустыми микрофонными стойками и переговаривались. Выглядели они так, будто ждут транспорт на остановке. Время от времени кто-то из них кидал взгляд в сторону рубки.

– Слушай, ну пять сек...

– Я тебе сказал: вокальник на третий, два инструментала на первый и четвёртый. Рыськой, рыськой. И не квакай тут мне.

И Тёмыч развернулся и отправился в рубку. Тёмыч любил командовать. А Рома ему этого не запрещал. Ему смешно было, что Тёмыч, который младше и разбирается в звуке хуже, стал его начальником и командует. Зато он сваливал с работы рано, даже раньше, чем рано, и за это Рома готов был ему многое прощать.

Он всё расставил, протянул и подключил. Тёмыч голосом демиурга время от времени вещал, что надо поправить, а что переключить. Тётя Маша с Натальей Петровной спрашивали о самочувствии, баянист Слава со скорбной завистью качал головой. Рома отвечал сдержанно. Весь ДК считал, что по вечерам он бухает. С Кочерыгой, ага. По началу это его забавляло, потом стало раздражать. Он даже пытался кое-кого разубедить, но оказалось бесполезно, и Рома плюнул: в конце концов, стало меньше расспросов. И пускай себе думают, что хотят.

Когда всё было подключено и «Просторы» начали прогон, стали подтягиваться «Итиль арзань», то бишь «Заря над Итилью» – итилитский заслуженный коллектив песни и пляски. Эти были уже в костюмах, с палками-звенелками и мелодическим бревном, традиционными музыкальными инструментами. Традиционной некуда, конечно, как и костюмы – белые рубахи на мужчинах и женщинах отличались только длиной, а красные повязки на челе с красными же помпонами, свисавшими по вискам, которые вообще-то носили только девушки, вступившие в пору полового созревания, смотрелись на престарелых красавицах нелепо.

Арзаньцы расселись на первом ряду и стали нарочито шумно переговариваться, не глядя на сцену. Оба народных и заслуженных, сосуществуя в одном ДК, вели друг с другом скрытую войну. Понятно, что деваться обоим было некуда: мало того, что другого ДК в городе нет, так даже баянист Слава у них общий.

Рома поспешил смыться в рубку. Он пытался не сталкиваться с арзаньцами, опасаясь, что как-нибудь не сдержится и скажет им всё, что думает об их традиционализме, а потом сам будет жалеть. Люди же не виноваты. Люди просто ничего не знают. Они сами верят, что сохраняют культуру. Такой, как она была когда-то, ага.

Тёмыч сидел в наушниках и не обернулся, когда он вошёл. Одного взгляда на пульт, за которым он сейчас с хозяйским видом развалился, вызвал приятную волну в душе: в голове опять заиграла музыка, которую он писал всю ночь, и плеснуло предчувствие – получилось, кажется, на сей раз всё-таки – да. Но тут же желудок подвело. Тёмыч отхлёбывал чай, шумно дуя. Значит, чайник горячий. Рома достал свою кружку, утопил пакетик в кипятке, стал искать заныканый бутерброд.

– Чё, головка бо-бо? – противным голосом поинтересовался Тёмыч. Спустив наушники с одного уха, он развернулся в кресле и смотрел на Рома. Рожа перекосилась довольной и гадкой ухмылкой. – Кушать хоча?

– Хоча, – без эмоций ответил Рома.

– А со Стешей тебе встречаться небось не хоча? Как смотреть-то ей в глаза будешь?

– А что не так? – спросил Рома, наклоняясь под стол и заглядывая в валяющуюся там сумку. Бутер не находился.

– Да всё так. – Тёмыч хрюкнул, хлебнул чаю. – Кто вчера на весь ДК ей вслед орал: «Она в стрингах?! Поднимите мне веки!» – Он заржал, поперхнулся и закашлялся.

– Ты был при этом, да? – поинтересовался Рома. Тёмыч кашлял, бутер не находился, голова начинала болеть.

– Не был, а люди-то на что, – ответил Тёмыч, прокашлявшись.

– Какие люди?

– Такие. Люди говорят.

– Говорят, в Москве кур доят.

Рома отчаялся: бутер не находился.

– Что, скажешь, не было?

– Было. Только это не я был. А Капустин.

– Кочерыга? Да ладно!

– Ну вот. И кроме нас и Стеши на другом конце коридора в ДК уже не было никого. Поэтому интересно узнать, кто разносит слухи по местному серпентарию.

– Ну, это уж я не знаю, я только...

В этот момент в наушнике щёлкнуло, Тёмыч надел его и обернулся к пульту. Коллективы на сцене менялись. Тёмыч ушёл в работу.

– У меня тут бутер с колбасой где-то... – бормотал Рома, безнадежно ощупывая глазами пульт и стол. – Ты не видел? Жрать охота.

Тёмыч не отвечал. На сцене разевали рты и ритмично двигались, поворачиваясь вокруг себя, белые арзаньцы. Тишина, в которой всё это происходило, делала картину сюрреалистичной. Роме так нравилось больше.

– Алё, бутер... – Насмотревшись на арзаньцев, Рома положил Тёмычу руку на плечо.

– Чё? – Тот обернулся, стягивая наушник. В нём слышались пение и шум палок-звенелок. На пульте лежал надкусанный кусок хлеба с колбасой.

– Ничё. Я вниз. За пирожками.

Тёмыч с раздражением махнул, возвращая наушник и снова оборачиваясь к пульту.

Рома слетел по парадной лестнице, но на последнем пролёте остановился, сбитый с ног звуками и запахами. Вестибюль был полон народу. В нём кипела жизнь, люди перекрикивались, суетились. Меж колонн расставляли столы, с противным скрежетом протаскивая металлические ножки по мраморному полу, раскидывались скатерти, ложились слоями сочные жареные пирожки, залихватски закрученные плюшки, горы хрустящего хвороста. По центру вестибюля под потолком растянули плакаты: два на русском: «Хлеб собрал – хорошо погулял», «Осень приходила – всех накормила», и один итилитский: «Осень-отец – году конец». По-русски, конечно, звучало дико, тогда как по-итилитский вполне себе, но Рома скривился: в пяти словах было две ошибки.

Те же ошибки, точнее – просто подмены будут и во всём остальном, Рома знал: все эти пироги от Итильского хлебазавода, которые должны бы изображать традиционные итилитские осенние, на деле окажутся самыми простыми булками; квас, который у итилитов не квас, конечно, а густой хлебный напиток и делается только к этому празднику, долго и тщательно, будет здесь простым русским, прозрачным. А ещё будет много мяса, которого к осени отродясь не готовили, но уже с лестницы Рома чувствовал присутствие областного мясокомбината: колбасы, нарезки, свиные окорока, копчёные куры... Наверное, это должно изображать дичь. Да, можно представить, что это всё изображает дичь, и расслабиться. Рома привык придумывать логическое объяснение подменам. Настоящего праздника, настоящего осеннего нового года не было в его жизни давно, он остался где-то в деревне, когда живы были а́ми и а́ти, а с тех пор всё стало бутафорией и театром. Да и вообще это его проблемы, что он помнит, как всё должно быть на самом деле, и замечает ошибки в итилитском. Другие вон живут и не парятся, радуются тому, что есть.

Рома тоже хотел бы не париться. Но ещё больше хотел есть.

Чем ниже он спускался, тем больше утопал в запахах. В центре разворачивались рыбные ряды – главное угощение на осеннем празднике: вяленые, копчёные здоровые итильские судаки, мелочь-вобла висела связками. Пробрались, конечно, и засланная форель, и горбуша с кетой, но что делать. Всё это изобилие раскладывалось под изображением синей женщины с синим же полотенцем в руках.

Полотенце и нездоровый цвет лица женщины, её отрешённые, закатанные очи, национальная лента в волосах, так же неуместная на ней, спелой, дородной, как и на бабушках из «Итиль арзани», – всё это говорило, что перед нами Итиль собственной персоной. Точнее, её персонафикация, богиня воды, рек и плодородия. Безымянная. Имя её народ благополучно забыл, хотя Рома подозревал, что его никогда и не было, как и самой богини, её выдумали этнографы, потому что как так: народ есть, мифы у них есть, а богов отчего-то нету. Непорядок. По крайней мере, в детстве Рома не слышал ни про богиню реки, ни про бога ветра, ни про бога грома и дождя, которыми любили потчевать красочные брошюры об итилитской культуре и мифологии. Были ведяны, да, были скордяны, были обериты и Итильван, но это же своё, понятное и близкое, а не боги. Может, поэтому нарисованная Итиль так скорбно закатила глаза, будто её от происходящего тошнило. В остальном же – ничего, нормальная такая тётка. Рома даже знал, где её хранят между праздниками, натёкался в подвале и всякий раз вздрагивал.

Хотя, может, это ведь ама – мать-река. Правда, о ней ни одно пособие по итилитской мифологии и верованиям не знает. Но мы-то можем думать, что это она.

Только лучше уже ничего не думать, а срочно поесть. Рома спустился с последней ступеньки, и его подхватило людским течением. Через десять минут, когда он допивал второй стакан кваса, заедая пирожком с картошкой, в голове стало проясняться и происходящее осветилось иным светом. Настроение стало почти благостное, он оглядывался бодрее – и возле стенда с расписанием заметил знакомую спину. Метнул пустой стаканчик в урну, закрутил пакет с жирными пирожками и двинулся туда.

– У-ур-р абедінь карзьянь трась! – пророкотал страшным голосом, обрушиваясь на плечи Любочке. Та взвизгнула и обернулась.

– Ромик! – она свела строго брови. – Чуть дурой не сделал!

– Это не я, это су-ужань, – провыл он покойническим голосом и снова потянулся к ней. Любочка игриво завизжала и стала отодвигаться.

– Что ещё за сужань такая, не знаю я ничего!

– Не такая, а такой, – обиделся Рома и перестал приставать. – Типа домового, только злобный. Который и пощекотать, и подушить любит.

– А-а, – протянула Любочка, недоверчиво глядясь, вдруг не прекратил ещё ребячество, а потом игриво заулыбалась: – Ой, дурной же ты всё-таки, Ромик. Прямо мальчишка!

Выговор у Любочки был милый, местный. Не итилитский, а так, как говорят русские в Итильске, умудряясь ставить в любой фразе удивлённо-вопросительную интонацию, певуче протягивая и приподнимая окончание: «Прямо мальчишка-а?» – выпевала Любочка, как большинство женщин в Итильске вне зависимости от образования и социальной среды. При этом была Любочка итилиткой или метиской, Рома не мог понять, а спрашивать не хотелось – всё здесь сложно, внешние национальные различия давно стёрлись, языка уже почти никто не знал. Оставался только вот этот говорок, получившийся из смеси выговоров схлестнувшихся на Итили народностей, эдакое общее удивление, что есть нечто, их всех объединившее, по нему Рома мог узнать итилянина где угодно.

– А что ты здесь делаешь? – ворковала тем временем Любочка, щуря хитрые, слегка раскосые глаза.

– Это ты что здесь делаешь? Я-то тут работаю.

– А я тоже с работы. На секунду заскочила. Обеденный перерыв у нас, и я вот. Смотрю, куда бы Вовку пристроить. У вас здесь что-то нормальное есть? – тараторила, кивая на расписание, а Рома в очередной раз с удивлением вспомнил, что у Любочки есть сын-шестилетка. Впрочем, почему он должен об этом помнить, если о самой Любочке вспоминал, только когда видел или шёл в соседнее здание, где Любочка работала секретаршей. И шёл-то он туда обычно не ради Любочки, просто там в буфете продавались пирожки.

– Шахматы? – Он сделал вид, что с интересом рассматривает сетку расписания.

– Ой, да ладно! – Любочка приснула. – Он не потянет. Он у меня такой неусидчивый!

– Ну, тогда, может... Спортивное ориентирование? Там как раз неусидчивых берут.

– А это как? – Она обернулась из-за плеча, чуть приоткрыв ротик.

– Это по городу бегать, разные точки искать.

– Ой, а это не опасно? Ещё заблудится. И дороги...

– Ну, он же не один будет бегать.

– Не-ет, наверное, это как-то не то-о...

– Хорошо. Может, тогда... хореография? Пение? Плетение макраме? – перечислял Рома, пока Любочка послушно пялилась, доверчиво открывая ему свою шейку, тоненькую и голенькую под короткой причёской, маленькое розовое ушко с некрупной серёжкой, а главное – нежную впадинку под темечком с лёгкими, почти прозрачными золотистыми волосиками. Если долго смотреть, бросит в жар. – Ты ведь помнишь про сегодня? – понизил голос, приблизившись так, что ощутил Любочкино тепло. Она что-то продолжала ещё про секции и снова про спортивное ориентирование, но тут же замолчала и обмерла, будто в ней отключили волю. Рома тоже молчал, упиваясь всей этой застывшей, хрупкой минутой и своей нехитрой властью над женщиной.

– Су-удьбин! – пронеслось в этот момент громовым голосом.

Минута треснула, чудо рухнуло. Любочка вздрогнула всем телом и испуганно обернулась.

– Судьбин! – неслось над фойе.

– Извини, иерихонская труба зовёт. Вечером встретимся.

Он по-деловому чмокнул Любочку в щёку и пошёл, лавируя в толпе, к лестнице, откуда доносился голос.

– Судьбин, сколько можно, это выходит за рамки, – говорила Стеша, пока он подходил. Голосом она перекрывала шум ярмарки, причём без заметного напряжения. Высокая, крупная, с могучей копной белых волос, она стояла на первом пролёте, обозревая происходящее, и смотрелась гордой скалой, нависшей над морем. Рядом Сан Саныч, директор, он же Сам Самыч или просто Сам. Мельче и ниже Стеша на полголовы, возле неё он выглядел несерьёзно. Ему бы не появляться с ней вместе на людях, но Стеша давно задвинула Сама, так что не появляться с ней было невозможно.

– Вот, полюбуйтесь, Алексан Алексаныч – герой, – говорила она, пока Рома к ним поднимался.

Подойдя, он слегка поклонился, хотел даже каблуками щёлкнуть, но решил, что это уже перебор. Директор, как всегда при заеме приобретший свойства скорее вещества, нежели человека, глядел искоса и, предвосхитив попытку поздороваться за руку, нервно дёрнулся. Рома заметил и не стал подавать.

– Наслышаны, наслышаны о твоих похождениях, про все твои выкрутасы с фокусами. Стыдно, Судьбин. Хорошо ещё, что детей не было в здании, – рокотала Стеша.

Рома кивал и молчал, хотя очень хотелось спросить, о чём, собственно, они наслышаны. Вопрос этот не был праздным: сам он прекрасно помнил всё, что было вчера, но всегда интересно узнать, в каком виде события донесены до начальства. За стринги, о которых ляпнул

Тёмыч, он не волновался: скорее всего, это сплетня для низшего эшелона, высшему преподнесено что-то поинтересней.

– Ты понимаешь хоть, что мы миримся только потому, что испытываем чувство снисхождения? – говорила Стеша, меж тем как директор продолжал искоса рассматривать Рому. Как и у всех мужиков в ДК, на его лице формальное осуждение мешалось с завистью, что вот, кому-то можно, а ему нельзя, кому-то хватает наглости и здоровья напиться вечером посреди рабочей недели, а потом как ни в чём ни бывало прийти на работу, а ему не позволит ни печень, ни положение. Но при этом Сам не мог не заметить, что от Ромы не пахнет. Рома даже постарался подвинуться к нему поближе и дышать в его сторону. От этого зависело сейчас его будущее. От Сама, не от Стеши, конечно. – Ты хоть понимаешь, что у нас учреждение дополнительного образования, к нам дети ходят, и какой ты им подаёшь пример? Это не говоря о том, что пить со сторожами – ну это же край, просто край падения!

Выходило, что, если бы он забухал с Тёмычем, в этом бы прослеживалось социальное равенство. Рома хотел даже об этом сказать, но глянул на Сама и промолчал.

– Ну, что делать будем, Алексан Алексаныч? – говорила Стеша, не глядя на Сама – при её росте и комплекции это было неудобно. – Судьбин, хочу напомнить, это уже третье за месяц предупреждение. Третье!

– Первое, Степанида Борисовна, – не сдержался Рома.

– Ха! У тебя с памятью что-то? Это уже в очередной...

– За месяц – первое, – повторил он спокойно. – Сентябрь сегодня начался.

Выгораживать себя или оправдываться он терпеть не мог и никогда этого не делал. Говорить же, чем занимается в рубке по вечерам – или даже ночами, как вот сегодня, – не хотелось. Не то чтобы он этого стеснялся. Просто давно решил, что это не их дело. И пусть себе думают, что хотят.

– Ладно. Расскажи-ка лучше, что ты за нововведения вчера предлагал? – тихо спросил вдруг Сам, как всегда, не глядя на собеседника. Была у него такая манера: разговаривая, глядел левее, даже встать мог вполоборота. – Какую ещё технику, имеющуюся в распоряжении, мы не используем?

Рома посмотрел с недоумением. Он понятия не имел, что наврали Саму, а гадать не хотелось.

– Что именно, Александр Александрович?

– Это я тебя хочу спросить, что именно. Что именно тебя не устраивает в работе нашего ДК, если ты полагаешь, что мы не полностью используем выделенное нам государством оборудование?

По дрожанию голоса Сама Рома понял, что тот начинает закипать. А это плохо. Потому что орущая Стеша – это норма, а вот закипающий директор – чревато.

– Александр Александрович, я не знаю, что вам передали, но отвечать за чужую фантазию я...

– Ты хочешь сказать, что этого не было? – перебил Сам, быстро бросив прямой взгляд и снова отвернувшись.

– Я не хочу сказать. Я не знаю, что вам рассказали, а потому не могу судить, насколько это соответствует...

– То есть ты хочешь сказать, что вы с Капустиным вчера не пили? – вмешалась Стеша. – И по фойе с флагами не бегали? И баян не брали?

– Степанида Борисовна, вы же знаете Капустина, – сказал Рома. – Вы можете представить, чтобы он бегал? Тем более с флагом? А баян был забыт в зале, я его в кабинет уносил. Когда и встретил Сергея Германовича здесь, в фойе.

Рома сам себе подивился, что вспомнил у Кочерыги не только имя, но и отчество. На что только ни способен мозг в стрессовой ситуации.

– Ну вот, всё сходится! – победно просияла Стеша и даже взглянула на Сама. Тот быстро отвернулся. По его лицу было ясно, что он давно всё понял и только одно пытается прояснить.

Вопрос: что.

– Но это не значит, что я с ним пил, – спокойно заметил Рома.

– Капустин у себя в каморке, без задних ног. Я проверяла, – сказала Стеша. Не ему, конечно. Саму.

– Прекрасно. Но я-то не без задних ног.

Стеша зависла, глядя на Рому, потом набрала уже в грудь воздуха, но Сам её перебил:

– Хватит уже этих разборок: пил – не пил. С этим всё ясно. Ты мне лучше вот что скажи: что с краном не так? Что тебе надо от крана?

И обернулся к Роме, даже взглянул прямо. А это значило, что кран – действительно важно, что у него и правда душа болит: Сам хотел быть хорошим директором, по-настоящему, и ему мучительно было знать, что в его хозяйстве что-то не так.

Но Рома не понимал. Он действительно не понимал, о чём речь.

– Какой кран, Александр Алексан?..

– Операторский! Операторский, черт бы тебя побрал! Который в зале, под потолком! Что! Я спрашиваю! Что тебе не хватает? Как, ну как, скажи ты мне, его можно использовать? Приедет телевидение, будет трансляция – вот и будем использовать! А сейчас – как?

– Ах это! – У Ромы даже от сердца отлегло, когда он понял, о чём речь. И тут же поразился: ведь про кран говорилось не вчера, не с Капустиным и вообще не здесь. Выходит, Настучалло так долго это носил, выгадывал, как получше подсунуть. Гнида, подумал Рома беззлобно. – Да всё просто, Алексан Алексаныч. Кран можно было задействовать... ну, например, в постановках. Он прочный, реквизит выдержит. И спускается от самой рубки, очень удобно. Мне показалось, что это могло быть эффектно, например, если во время спектакля какая-нибудь там... ну, Баба-яга, условно, пролетала бы в ступе над всеми зрителями. Ну, как делают, знаете? *Fantom of the Opera*, типа такого.

– Это что? – с недоверием покосился Сам почему-то на Стешу.

– Это что? – спросила она в свою очередь Рому с угрозой.

– Ну, мюзикл. На Бродвее. В Нью-Йорке.

– А-а, – протянул Сам. Нью-Йорк его не интересовал как несуществующее пространство. Вот если бы Рома сказал: в райцентре. Или, на худой конец, в Москве. А Нью-Йорк – ну, что с него взять. – Хорошо. И как ты намерен на нём летать над залом?

– Летать? – не понял Рома. – Я? В смысле – летать?

– Летать, летать. В прямом смысле. Ты, говорят, похвалялся, что на кране этом можно над залом летать. И намеревался это сделать. Пока никто не видит.

– Что за бред? – Рома фыркнул. Идея звучала настолько идиотично, что даже серьёзно подумать об этом он не мог. – Это что-то уж вам... совсем загнули, Алексан Алексаныч. Кто же будет на кране летать? Это только для реквизита, при постановках, чтобы...

– А кстати, о постановках, – перебила его Стеша. – Ты знаешь, Судьбин, тебе крепко повезло. В том смысле, что у нас на тебя уже были планы. И хотя твоё поведение ставит под сомнение твоё дальнейшее пребывание в наших стенах...

– Хватит, Степанида, не надо. – Сам болезненно поморщился. Рома про себя выдохнул. Значит, пронесло, директор уже всё решил и никакой ход истории иметь не будет. Ну и славно.

Он с чистой совестью воззрился на Стешу.

– Так вот, – продолжала та. – У нас в этом году расширение. В рамках развития национального искусства и культуры. Год национальностей, как-никак. А театра итилитского нет. Большое упущение!

– Большое, Степанида Борисовна, огромное. – Рома покачал головой, изо всех сил делая серьёзное лицо.

– Так вот, мы решили его организовать, – не замечая, гнала своё Стеша. – При кружке любителей итилитской словесности. Который теперь будет базироваться у нас в ДК.

– ЛИС? – удивился Рома.

– А, так ты знаешь? Тем лучше.

– Отчасти. Ходил когда-то. В школе. И мама тоже...

– Да-да, Любовь Петровна говорила мне, что у них была твоя мать. Я забыла. Ну, тем лучше. Там, как ты знаешь, не хватает специалистов по языку. Честно признаться, их вообще нигде не хватает. А если выходить на областной уровень, если ставить спектакль, нужен хороший консультант. Нельзя же, ну, ты сам понимаешь...

Рома кивал. О том, что в ЛИСе, в клубе любителей итилитской словесности, мало кто говорит по-итилитски, он прекрасно знал. В его время таких людей было пятеро, кажется. Включая его и мать. Что там сейчас происходит, он мог только догадываться. Сама Любовь Петровна, бессменная руководительница, была русская, итилитская вдова. По-итилитски она не говорила, хотя понимала, и тогда, пятнадцать лет назад, пыталась учить своих детей языку отца, была у неё такая гуманистическая идея. Рома помнил глубоко тоскующего Митяню и гиперактивную Тусю, которые не принимали участия в жизни кружка, но приходили, как повинность тащили. Любовь Петровна считала, что они могли нахвататься языка пассивно, просто присутствуя на заседаниях клуба. Как это могло бы произойти, Рома не представлял: итилитский звучал там, только когда начинали что-то читать, а это происходило нечасто.

– Короче, мы тебя хотим к ним приставить, – закончила Стеша. – Ты же язык знаешь? Будешь помогать.

– Хорошо, – Рома пожал плечами. – Почему бы нет. А что именно...

– Я тебя даже сейчас кое с кем познакомлю. Пойдём.

И она стала спускаться, ни секунды не сомневаясь, что Рома последует за ней. Рома последовал. Уже внизу вспомнил и обернулся: Сама не было. Ушёл тихо и незаметно. Как всегда.

Торговля в фойе шла полным ходом, но Стеша плыла через толкучку как ледокол. Где-то у окна слышались странные звуки, там что-то звенело, грустно и низко вздыхало или вдруг пронзительно и гадко взвизгивало. Стеша правила туда. Наконец обзор открылся, и стал виден стол, окружённый людьми, в первую очередь младшего школьного возраста. Они издавали какие-то звуки: трещали трещотками, звенели звенелками, дудели в дуделки. Один мальчик лет десяти, откормленный и ухоженный, поднял над головой и раскрутил какой-то шланг, и тот завыл противным голосом. Мальчик смеялся, в отличие от его мамы, которая нервно пыталась перехватить его за руку. Но мальчик быстро потерял интерес к шлангу, кинулся снова к столу и уже через секунду отделился с большущей колотушкой, похожей на разделочную доску с прикрученной к ней деревяшкой. Деревяшка ударяла по доске, выдавая адский треск.

– Положи немедленно! – прыгала вокруг мамаша. – Где это лежало?

– Ну, ма-ам, – ныл малец, пряча колотушку за спину. – Купи-и!

– Вот ещё! И не подумай! Сейчас же положи где взял!

Стеша протолкалась сквозь гудящую толпу и остановилась у стола.

– Здравствуйте, Александр Борисович. Вот, знающего человека вам привела, как и обещала, – услышал Рома и стал проталкиваться мимо пары, перетягивающей колотушку.

За столом оказался бородатый мужик в белых льняных штанах и рубахе, с очельем из бересты, перехватывающим седеющие тёмные волосы. Девяносто процентов народных мастеров на ярмарке выглядело так. Наверное, пытались подтвердить свою народность.

– Роман, – представляла тем временем Стеша, – специалист по национальной культуре. А это Александр Борисович, мастер-реконструктор. Основатель клуба восстановления... ну, как вы там?..

– Клуб «Живая Итиль», – пришёл на выручку мужик и протянул Роме руку. – Очень, да вот, как бы это. Просто можно дядя Саша, чего бы так-то.

Рома пожал руку. Мельком посмотрел на часы, думая, как бы уличить момент и слинять. Сказать, что ли, что Тёмыч лютовать станет? Ага, Стеше это прямо интересно...

– Клуб очень нужен нашему региону, – чесала она тем временем своим чиновничьим языком, без труда перекрывала творящийся вокруг бардак. Притихла даже пара с колотушкой. – Культура, искусство. Собрались энтузиасты. Вместе с ЛИСом решили театр создать. Потому что, как мы понимаем, реконструкция – это хорошо, но живое звучание слова, особенно со сцены, – это совсем-совсем другое...

– Живое звучание? – Рома даже проснулся. – Так кто же поймёт?

Стеша быстро обернулась на мастера. Похоже, до сих пор ей это в голову не приходило.

– Ну, так были же какие-то идеи, я правильно понимаю, Александр Борисович? Как-то так, по-особому...

– Да, да, у нас всё, чтобы сделать, а потом сюжеты такие, и ещё, ну, бытовые, это чтобы уж всё...

– Короче, я вас оставляю, вам есть о чём поговорить, – и Стеша поплыла в многолюдное море фойе.

Засим и нам можно откланяться, решил Рома и хотел тоже прощаться, но дядю Сашу как раз отвлекли, спрашивая про инструменты.

– Дерево, глина, береста, – говорил он, любовно касаясь разложенных перед ним свистулек и бренчалок. – Наши предки были... что могли достать... простые материалы.

– А это что? – спрашивала женщина, указывая на посох в дяди Сашиных руках – суковатую тяжёлую палку с бубенчиками и цветными лентами.

– Шуурдэн. – Дядя Саша потряс и звонко стукнул об пол. – Ведуны ходили, чтобы...

– Это как по-нашему? – переспросила женщина.

– Это и есть по-нашему, – сказал Рома. Дядя Саша быстро глянул на него и улыбнулся с болезненной благодарностью.

– Пастухи, которые по лесу, волков пугать чтобы можно, скотину там, ну, всяко гнать. Такая вещь, это прямо не пропадёшь чтобы. – Дядя Саша говорил, мучительно подбирая слова и путаясь в грамматических оборотах, но Рома понял, что это не оттого, что плохо знаком с русским, а от природной стеснительности. Как такой человек мог основать какой-то там клуб и заниматься общественной деятельностью, у Ромы в голове не укладывалось.

– А при чём тут ведуны? – не унималась женщина.

– Пастух с нечистой силой знался, – взял на себя инициативу Рома. Ему показалось, что дядя Саша выдохнул с облегчением. – Он в лесу большую часть времени проводил. Всё время со зверьём. Вот и считалось, что он и лечит, и ворожбу наводит. И знает, кому шепнуть, кому бражки капнуть, чтобы приплод был хороший, чтобы со скотинкой ничего не случилось. Ну и, опять же, чтоб медведь не задрал.

Женщина кивала, не отнимая глаз от инструментов, и было видно, что почти не слушает. Кто-то спросил о ценах, *мамкун* снова нудело под боком. Рома начал сдавать из толпы задом.

– Мам, купи! – вдруг взвизгнуло особенно требовательно, и что-то мелькнуло перед глазами у Ромы. Но быстрее мамы отреагировал дядя Саша – он буквально метнулся и выхватил инструмент у ребёнка.

– Это нет, нельзя, это особое, такие чтобы в руки – нет, иначе нехорошо, – забормотал Саша в крайнем смущении, но решительно засовывая инструмент себе за пояс.

– Почему это нельзя? – завелась мамаша. – Что же вы на столе кладёте, если нельзя?

– Не кладу, не кладу. Показывал, люди были, а так нет. Только в руках, и нельзя, звуков нет – это особое, чтобы такое...

– Виталя, пойдём, – скомандовала мать и потащила сына прочь. Он заверещал как резаный и гирей повис у неё на руке, подгибая ноги.

– Это нойда, да? – спросил Рома. Он не сводил глаз с инструмента.

Дядя Саша вздрогнул:

– Вы знаете? Нойду знаете? – Лицо у него осветилось. – Это же, если просто так пойти искать, не всякие расскажут, забылось, а где и так: прятали, передавали только самым-самым, чтобы в чужие руки – ни-ни.

– Дед рассказывал, – кивнул Рома.

– Итили чек? – спросил неожиданно дядя Саша, и Рома не сообразил, о нём или о деде.

– Та, – кивнул. Но уточнил на всякий случай: – Опара ба.

– Не понял, – признался дядя Саша и смутился.

– Наполовину: отец русский. Мать из деревни была, там все итилиты.

Дядя Саша покачал головой – с завистью, как показалось. В этот момент рядом стали расплачиваться за свистульку, он переключился, но вдруг, не глядя, вытащил из-за пояса дудку, быстро всучил Роме и снова занялся покупателем.

Рома замер, держа нойду на раскрытых ладонях. Небольшая, с коровьим рожком на тонкой шейке – собственно тростниковой дудочке с четырьмя отверстиями и маленьким, на взгляд хрупким пищиком. Было видно, что инструмент старый, единственный настоящий из всего, что на столе. Затасканный, потемневший от рук, он всё же выглядел ещё очень хорошо. И наверняка звучал. Должен был звучать, для этого у него всё было, Рома видел на глаз, хотя сам бы не решился попробовать – даже на него, впервые держащего дудку в руках, действовал впечатанный в памяти запрет – на нойде играть в доме нельзя, просто так нельзя, кому ни попадя нельзя. Только хозяин, кйриди чек – пастух, скотий человек, да и то не всякий: не у каждого была нойда, и она сама становилась как бы знаком избранности. Потому что слышат её *на той стороне*, ко тарабà, и если незнающий заиграет, ещё неизвестно, что выйдет.

Рома почувствовал, что дядя Саша пристально за ним наблюдает, поднял глаза и протянул дудку обратно:

– Уникальная вещь.

– Чем? – спросил дядя Саша. Рома растерялся. Показалось, что он его тестирует.

– Ну, как. Говорят, она не для людей.

– Так это про любое скажи, – отмахнулся дядя Саша. – Шуурдан вот – для ветра, – он потряс снова посохом. – Болезни отгонять. Тарарёзь, – он показал на доску-колотушку, – для духов зелени, обходили пашню по весне. Уточки из глины – это вообще понятно, не надо говорить... – Он кивал на инструменты, как на давних знакомых, которых и представлять не надо. – А нойда – другое. Все говорят, а не знает никто – чего, как...

– Так ведь пастухи... – пожал плечами Рома. Ему не хотелось про это говорить. Не здесь и не сейчас, по крайней мере. Не при людях.

– Так пастухи – чего, ну, да, пастухи... Нойда – не у каждого же. Была же ещё áбидазь, ну, эта вот, труба, из осины которая.

Он вытащил из кучи большой рог из осиновой коры, потряс перед Ромой.

– Реки мать знаешь? Ведь ама, – неожиданно ляпнул он и тут же прикусил язык. Вот кто тянет?

– Ну, – кивнул дядя Саша, но смотрел без понимания. Нет, не знает, понял Рома. Про Итиль, которая собирает свои стада – зверей и рыб, – как раз этим рогом, и он разве что не более оберегаемый, чем нойда, – не знает.

Ну и пусть. Нельзя.

– Ну, вот. – Рома вскинул глаза на часы. – Ладно, пойду я, концерт у нас...

Но дядю Сашу было уже не успокоить.

– Эй, погоди. Так чего?

– Чего – чего?

– Мать реки – знаю. И нойда чего?

– Говорят, её *там* слышат. – Рома выдавил и поперхнулся. Всё, больше ни-ни. Теперь так точно нельзя. И так много сболтнул.

– Нойду?!

Дядя Саша покраснел, как будто задохнулся. Прижал руки к груди, закивал головой, как заведённый. Рома почувствовал злость.

– Я – никому. Могила! Никому, я, чтобы, так же...

– Никому... Народу – толпа, – прорычал Рома. – Ладно. Пора мне.

И развернулся, пошагал к лестнице. На душе стало противно, будто сделал что-то гадкое.

– Эй, стой! погоди! – услышал в спину. Обернулся – дядя Саша проталкивался к нему. – погоди. Вот. – Протянул нойду. – Бери.

– Да вы что! Нет, я не могу. Это же музейный экспонат. Это... – Рома так растерялся, что даже потерял всю свою убедительность.

– Бери, бери. Я не играл. Никто не играл. А ты... Ну, кто знает, у тех должен... Нам нельзя. Бери. Да потом, потом!

И дядя Саша суетливо, не глядя в глаза, сунул дудку Роме в руки, развернулся и поспешил к своему столу. Рома с недоумением смотрел ему в спину.

Через несколько часов тот же вестибюль был пустой и гулкий, как баррель из-под иссякшей нефти. Торговцы давно свернулись, унесли с собой и столы, и растяжки. Синюю женщину сняли и утащили в подвал до следующего праздника. Одна тётя Лена меланхолично шваркала по полу мокрой шваброй, метя перед собой сор.

Чек аккарёз, тиль ревёрз, – крутилось в голове. Как это перевести? Человек... что? Смертен? Нет, умирает, Человек умирает, а река течёт. Ами так говорила. Ни к чему, просто так, без повода. Вот и сейчас всплыло без повода. Чек аккарёз каждый день, ну а тиль всегда реверз. Что ей ещё и делать.

В будке у входа горел свет, журчал телевизор, там копошился Капустин, он же Кочерыга – недавно проснувшись после вчерашнего, он ещё только собирал свою реальность, и она ему явно не нравилась.

– Чё торчишь, не придёт никто, смотри, темь какая, и дождь ещё этот, – ворчал из будки, как из панциря, не высовываясь.

– Не кончился?

– Какой! Только шибче.

Рома кивал. Прислонившись к будке боком, он видел входную дверь и часы на стене. Белый шум от телевизора в вахтёрской метался по пустому пространству. Нервы у Ромы были подтянуты, и шум только сильнее щекотал их. Он любил ночной ДК, любил оставаться здесь один, любил это чувство преданного королевича в спящем заколдованном королевстве. Он ощущал тогда скрытую власть над предметами и местом.

– Что, здорово мы вчера нарезались? – говорил Капустин, продолжая устраиваться в будке, как старый пёс, не находящий больным костям места. Он попытался натужно рассмеяться и закашлялся.

– Не мы, а ты, – равнодушно поправил Рома.

– На рогах, говорят, по всему ДК ходили.

– Не мы, а ты, – сказал Рома.

– А со Стешей ты без меня уже посрался?

– Это с чего бы вдруг?

– Ну, говорят. Ты ей вроде бы сказал что-то, она в крик. Еле успокоили. Велела на глаза не появляться.

– Да? Как интересно. А почему она меня не уволила?

– Почём я знаю. Хотела, говорят, а Сам заступился. Видно, ты ему чем-то приятен.

– Очень, очень интересно. А кто всё это говорит?

– Люди. А что, правда ты летать ещё собирался? – Капустин аж высунулся из будки. Оплывшая рожа с клочковатыми усами и бородёнкой выглядела фельетонно. – На кране. Говорят.

– Говорят, в Москве кур доят, – сказал Рома и вспомнил Тёмыча с такими же любопытствующими глазами. О, итилитские боги... Выдуманные все до одного. – Неправду тебе наврали. Это ты собирался. И не просто собирался, а уже летал. Не помнишь?

– Не помню. – Капустин вылупился во все глаза. – Совсем. – Он скорбно помотал головой и скрылся.

– А всё остальное, значит, помнишь, да, Кочерыга?

– Ну, не так чтобы... Но как пили...

– Как пили, помнишь? Со мной?

– Ну... – Капустин замолчал. В будке что-то загрохотало. На часах большая стрелка качнулась как бы в раздумье, сорвалась с нулевой отметки. Восемь ноль одна.

– Ты особо-то наш серпентарий не слушай, – сказал Рома. – Тут тебе и не такое нашуршат.

Капустин вроде что-то отвечал, но за шебуршением было не слышно. В этот момент подалась входная дверь, и Рома отлип от будки.

Входила Любочка.

– Привет! – протянула, увидев его, и разулыбалась. Перед собой она несла мокрый зонт, с него текло на пол. Первый порыв был таким образом остановлен, Роме пришлось обогнуть зонт и приблизиться к Любочке с левого фланга. Она позволила ритуально поцеловать себя в щёчку. – А ты меня ждёшь? Я думала, ты там где-то. Я же вроде опаздываю. Пока Вовку к бабушке, пока то да сё...

– Да ладно, нормально. Идём. – Рома подхватил её под руку и повел к лестнице. Разговоры про Вовку он не любил, но краем сознания отметил, что тот у бабушки. Это кстати.

– А что, больше никого нет? – спрашивала Любочка, торопливо поспевая за Ромой по пустому ДК.

– Почему нет? А я?

– Ну, это понятно. А ещё?

– Тебе ещё кто-то нужен?

– Ой, погоди, я же не заплатила! – Остановилась на последней ступеньке.

– Пойдём, пойдём. – Рома повлёк её снова. – Всё оплачено. Места для поцелуев, лучшие в зале. Я шучу. Идём, время.

Коридоры были наполнены только собственной пустотой. Рома ввёл Любочку в зал, где пустота была другая – бархатистая, притушенная, мягкая.

– Вот, садись. – Провёл на крайний верхний ряд и посадил по центру. – Лучшие места, честно. Лучше только у оператора. Сиди, я метнусь, всё заправлю и упаду рядом.

Любочка, вдруг притихшая в этой мохнатой тишине, хлопала на него глазами. Рома быстро вышел. У него уже всё было готово: фильм на паузе, только кнопку нажать, погасить свет, развести занавес, спуская белое полотно задника, подождать пять секунд, пока успокоятся волны на ткани, – и понеслась.

Рома любил эти моменты. Они оправдывали всё: эту работу, ДК, сам город и собственное возвращение. Потому что в эти моменты ему казалось, что он держит в руках своё призвание. Идиотское ощущение, если вдуматься, потому что если его призвание было крутить киношки в пустом зале ДК «Итилиточка», то лучше было на свет не родиться. Но так Рома думал уже потом, когда пропадала магия и оставалось послевкусие, а в первый момент всё было чудом: он бог, и мир рождается движением его пальцев. Единственное, что смущало: редко мир рождался

таким, каким бы ему хотелось. Обычно приходилось идти на поводу у публики и интересов ДК, ставить свежие комедии, американские боевики или российские мелодрамы. Но такова уж судьба бога – в мире должно быть всё, а не только то, что ему нравится. Сегодня, к примеру, была комедия по заказу Любочки. Сам он её не видел, но почитал анонс и понял, что видеть не хочет. Ну и ладно, он не за этим шёл сейчас в зал.

Постояв в дверях и позволив глазам привыкнуть к полутьме, Рома прошёл меж креслами и опустился рядом с Любочкой. Та уже пофыркивала, глядя на экран. Темнота озарялась вспышками мелькавших картинок, звук орал, так что можно бы и прикрутить, но Рома не стал. Во-первых, уровень громкости стандартный, просто зал пустой, поэтому кажется, что громко. Во-вторых, уходить снова уже не хотелось. Хотелось к Любочке.

Его прихода она как будто не заметила, поглощённая фильмом. Только слегка повела плечиком. Рома смотрел на её профиль, на мелькание света у неё на лице. Кожа тонкая, нежная. Волосы лёгкие, светлые, русые. Итилиточка, нет? Как бы всё же спросить?

– Нравится? – Рома склонился к самому её уху, вдохнул глубоко – пахло тёплым, домашним, сладким, будто бы пирожками, и ещё замечен был какой-то химический оттенок – наверное, остатки утренних духов.

– А? – Она быстро обернулась, скользнула по нему невидящими глазами и сразу же отвернулась.

– Фильм, говорю, нравится?

– А то! Чума! Третий раз смотрю. – Фыркнула и рассмеялась в голос.

Рома отстранился и посмотрел на экран. Муж пришёл домой, там жена с каким-то мужиком, говорит, отопление чинит, но мы-то знаем, что у них за отопление. Муж начинает бегать по дому, тут приходит тёща, и уже все вместе выясняют отношения. Битьё посуды, крики, перестрелка, но в конце ляmur, хеппи-энд и торжество справедливости. Снято на цифру, смонтировано на коленке. Потерпеть в фоновом режиме Рома такое мог, но смотреть третий раз – это слишком.

Так что лучше об этом не думать. О состоянии мозга объекта, в смысле, лучше не думать.

Он снова обернулся к Любочке, но её лицо было искажено гримасой близкого смеха. Он взял её за руку. Она не заметила. На ней была лёгкая блузка, как сидела на работе в своей администрации, так и прибежала. Не отпуская тонких пальчиков, Рома скользнул другой ладонью по её руке, ощущая тепло кожи под полусинтетической тканью. Задержался на плече, погладил. Слегка коснулся шеи. На экране что-то брякнуло, Любочка фыркнула носом. Рома в задумчивости, неторопливым движением играл пальцем с лёгкими волосками, завивающимися у неё над ушком. Проследил взглядом, но блузка была слишком закрытая, никакого декольте. Как днём, оставалось любоваться на нежную шейку, ушко, локон – прям девятнадцатый век.

Захваченная сюжетом, Любочка подалась вперёд. Рука Ромы как бы сама скользнула ей на спину, плавно опустилась вниз и невзначай легла на уютную покатость бедра. Любочка была плотная, упругая, в руки давалась легко. Правда, сейчас не реагировала. Это несколько вышибало. Рома подождал, давая время себе, давая время ей. Любочка тихонько засмеялась. Ну и чёрт с ним, решил и придвинулся, обняв плотнее. Пальцы теребили задел между поясом юбки и блузкой. Пояс подался, почувствовалось телесное, скрытое под одеждой тепло, но там ещё были складки ткани, край блузки, резинки... Как крот, Рома стал перебирать пальцами, копаясь к теплу. Любочка засмеялась, громко и с выдохами, всё тело её заходило. Рома ощутил ладонью колебания животика и бока. Но это всё от кино. Его движений она не замечала.

Решив проверить, Рома одним махом нырнул ладонью под край блузки. Горячая волна ударила в голову, разлилась по телу, ухнула в бедра. В этот момент на экране снова что-то упало, Любочка вздрогнула и захохотала. И всё. Рома мог делать что угодно, она не замечала, поглощённая фильмом. Там герои ругались и вопили, бегая вокруг стола, бросая предметы. Любочка хихикала, тело мелко волновалось, как тёплое озеро под ветром. Роме показалось,

что, если он разденет её сейчас всю, если займётся с ней самым жёстким сексом, Любочка и тогда не будет возражать, если только удастся не отворачивать её от экрана. Он стал воображать, как это можно проделать, как крутить Любочку так и этак, не разрушая её настройки, – и вдруг понял, что совершенно её не хочет.

Волна, накатив, отходила. Ладонь вспотела, зажата плотной юбкой. Он выдернул её, оставил лежать на бедре, не желая сразу сдавать позиции, надеясь, что наваждение вернётся, но потом снял руку. Плечо затекло, было неудобно тянуться к Любочке. Она смеялась, и Рома понял, что это его раздражает.

Он вспомнил, как электрик Андрей Петрович, личность весьма колоритная, обитавшая в цокольном этаже, однажды, когда пили всем ремсоставом, заявил, что секс п-пьюсле т-тридцати с-становится физиологически п-пыротивен. – Петрович заикался, но это не мешало ему быть знатным троллем, любившим выдать какую-нибудь провокацию и смотреть, как народ реагирует. Мужики предсказуемо возмутились. Каждый пытался доказать, что он-то ещё Ого-го, пусть даже уже далеко за тридцать. Петрович тихонько над всеми посмеивался, макая в водку усы. А сейчас Рома понимал, что хорохориться было не перед кем: вот ему-то тридцать еле-еле, а и правда чувствуется – п-пыротивен, и будет противен дальше, такой вот секс ради секса, с хихикающей Любочкой или со Светочкой, Наташенькой, Валечкой – с кем угодно. Хотелось другого, а это другое осталось далеко, не в ДК, не в Итильске, вообще в другой жизни.

Всё, занавес. Осталось только сползти с кресла и закрыть глаза, потому что пялиться на экран физически невозможно. Ох, итилитские боги, он же не хотел вспоминать, и вот – не сдержался. Не думать о белой обезьяне, конечно, попробуй не думать. Все эти вечера в ДК, одинокие и томительные, когда оставался один на один со своей музыкой, когда мог погружаться в звук, – всё ради этого. А ещё раньше – водка. Но только не помогало. Он потому и не пил больше: не помогало. Даже когда совсем уплывал в туман, даже тогда оставалась часть души, преданная прошлому, неприлично трезвая, и смотрели оттуда живыми глазами призраки страны, так и не ставшей родиной, и приходила личная его, до боли родная Лилит.

Проявлялась. Смотрела. Как в тот раз, когда прощались – и знал же, что навсегда, хоть и не понимал почему – на углу 79-й и Бродвея. Ему – в метро, а ей навсегда остаться духом, призраком, душою Нью-Йорка, города, полного демонов. Вот и Лилит стала одним из них, пусть и с французским именем и с милой картавостью. Мама – француженка, журналистка, папа – американский фотограф с венгерской кровью, она – дочь божественного Green Village, дочь очень, и очень, и очень большого города, устремлённого в небо каждым своим небоскрёбом, – маленькая, утопающая в свитерах до колен, в спущенных гетрах, тугих кудрях, укутанная плотным дымом чего-то невыразимого. Она была его личным проводником по городу демонов – хрупкий Вергилий, на котором ты теперь круге?

Квартиру снимали толпой – студенческий общак по-американски, вольница в белых стенах. Быть бы им больничными, если бы не картины, фотографии, карточки – все же кругом творцы, креативцы, есть чем завесить белое и пустое. Сплошной арт; нет, не ад. Он чувствовал себя среди них заблудшей овцой, ходил за нею на четвереньках, тыкался в колени, подставляя серую морду, тянул: «Бе-е». Смеялась. Никогда громко. Вообще все её звуки были тихими, скрытными, но исходили из такой глубины, что голова шла кругом.

Лили, Лили, Лилит, повеяло тёмным и душным. Как далеко удалось тебе залететь вместе со мной, как далеко удалось тебя увезти, тайно, скрытно, уводом. Сама не поехала. Не соглашалась ни на Москву, хотя ему предлагали тогда очень и очень хорошую работу – жили б сейчас в видовом пентхаусе на Садовом, или где там люди живут, такие, у кого всё хорошо, кому всё удалось, и вместо тёмных ангелов одиночества они привозят с собой из-за океана здоровых и весёлых невест из плоти и крови.

Нет, ты была не такой. Ходила по Централ-парку босая. Вот так – перешагивала парапет и разувалась, дальше ступала тонкой, белой ступнёй. Зимой старался там с тобой не бывать – невыносимо видеть белые ступни на мёрзлом песке дорожек.

А черепахи, помнишь – летом в пруду? Любила смотреть на них, сонных; они забирались на камни, ложились друг другу на спины – мал-мала-меньше. Живая пирамида, панцирные атлеты, так они загорали и сохли, пока какой-то одной, по обыкновению – нижней, не приходило в голову прохладиться. Тогда принималась шевелить лапами, напряжённо вытягивать из-под панциря морду и хвост, шипеть, хватая воздух со злостью, как собака, толкаться, и наконец всё летело к чертям, расплзалось по берегу, а она победно плюхалась в воду и сразу – на глубину, пусть не жёлтая, но всё-таки субмарина.

Ты любила их, глупых, скользких. Смотрели часами. И сейчас отчётливо помню их, до скалдок на мордах. А ещё – улыбку твою и ладонь, зажатую в моих пальцах. Тонкую, будто ланцет. Скажи, ведь это ты и была, это ты уходила на дно, долго расшатывая нашу с тобой пирамиду, пока всё не полетело к чертям.

Рома открыл глаза, вздрогнув, как от удара: это в фильме кто-то шархнулся с лестницы, а Любочка захихикала мелко, будто отсчитывала ступеньки. В тот же момент внизу, у сцены, открылась дверь, вошла тёмная сутулая фигура – Капустин покинул свой пост, слепо со света покрутился, разглядел их наверху и приземлился на крайнем в первом ряду кресле. Скучно ему в телик пялиться, паскуде, подумал Рома и почувствовал к старику благодарность: его появление снимало необходимость торчать в зале. Склонился к Любочке, сказал: «Я отойду» – и с чувством освобождения вышел.

В рубке было приятно тихо. Он поставил чайник, достал из ящика печенье, кружку и пакетики с чайным песком. Вспомнил, что где-то оставался последний из купленных днём пирожков. Правильно, теперь только пить да есть, никакой тебе романтики, и даже секс физиологически п-пыротивен, а через несколько лет такими темпами станет и не нужен. Он попытался себя приструнить, но не вышло, слишком уж откровенно радовался, что сбежал от бабы, так что самому становилось смешно.

Кулёк с пирожками нашёлся на пульте. Вот ведь чучело, кнопки засалятся! Сунул: пирог – в пасть, кулёк – в мусор, принялся салфеткой протирать пластик. Там же лежала и нойда. Изящная, маленькая. Взял в руки. Вспомнился смешной, косноязычный дядя Саша, вспомнилась Стеша, и ЛИС, который теперь будет заседать в ДК, и что-то ведь она ещё говорила про театр... Очередная профанация.

Но вот дудка была настоящей. Самой настоящей, что он держал сегодня в руках, включая Любочку. И вся насквозь итилитская, понятная, до трещинок своя. А вот интересно, *она* услышит? Если и правда подуть, услышит ли, придёт? Нет, не сейчас, конечно. Не здесь. Но вот в лесу, в понедельник...

Рома даже зажмурился от безрассудной идеи. Дед бы посмеялся, если бы узнал. Посмеялся? А вот чёрт его знает. Ати, кажется, верил. Не во всё, но во что-то – точно верил. В Итиль, например. Так что с нойдой – кто ж его знает. Может, и не посмеялся б. А выпорол.

Рома усмехнулся, повалился в кресло и стал с наслаждением пить чай, глядя через окно на экран, на сменявшие друг друга, но без звука совершенно безобидные отсюда картинки.

Глава 2

Понедельник у Ромы был выходной. И этот день он проводил одинаково – уходил в лес. Его радовало это несовпадение с остальным миром: он заставлял и город, и лес, и пустыни, люди исчезали, их поглащала работа, и никакие случайные пикники, никакие шашлыки не могли испортить прогулку.

Он так привык к этим вылазкам, что не мог жить без них. К воскресенью город уже давил и жал настолько, что было трудно дышать, люди раздражали, он плохо спал и думал только о лесе. В понедельник поднимался рано, не желая терять ни минуты, быстро завтракал и выскакивал из дому. Осенью солнце заставляло его уже на дороге из города. Шёл, будто его толкали в спину. С собой ничего не брал, кроме куска хлеба и какого-нибудь музыкального инструмента – пустая брезентовая сумка от противогаза, которую он нашёл на чердаке ДК и экспроприировал, шлёпала по задку при каждом шаге. Хлеб можно было и забыть – за день, пока гулял, не чувя голода, возвращался пустой, будто не ел год. А вот инструменты забыть было нельзя. Весь этот год учился делать дудки, простые, из пластика и тросника, по найденным в интернете чертежам. Ради них, казалось, он туда и ходил – всегда на одну и ту же поляну. Приходил туда и играл, как будто кому-то демонстрировал. Он это так и называл: «показать месту».

Уже давно нечего было показывать, и вот праздник: нойда.

Рома быстро шел прочь из города, оставляя за спиной цветные домики Нагорья. Если ему чем-то и нравился Итильск, так тем, что город точно знал свои границы. Буквально за последним забором Нагорья – его забором, к слову сказать, – был обрыв, и город кончался. Обрыв был самый настоящий: город на холме, и забор стоял на горке, под ним – бурьян и канава, а дальше растекалось поле, и никаких случайных построек, никаких долго тянувшихся обжитых мест, как в крупных городах. Эта чёткая разграниченность пространства была приятна, она вносила ясность и понимание: вот здесь город и одни законы, а перешагнул – и всё другое: расстилается поле, впереди темнеет полоса леса, влево убегает взгорок – там Итиль, хотя её отсюда не видно.

Налево Рома никогда не ходил, потому что знал: примерно в километре дорога выскакивала на остаток Кривошеинского химзавода. Не советского, а дореволюционного, купца Кривошеина, гнали соль, щёлочь, всякую гадость. А что после этого впадало в Итиль, никого тогда не волновало, очистных, разумеется, ещё никаких не было. А потом что-то случилось. Завод разорился. Кривошеин уехал за границу. Это было в пятнадцатом году. Можно сказать, ему повезло. Завод в первые же годы после революции растащили на кирпичи, и теперь там нет ничего, ни камушка, зато на земле до сих пор – выжженный круг: место, где он стоял. Так проело химией, что вот сто лет прошло, а трава не растёт – на земле как будто ожог.

Рома не любил туда ходить, и даже вспоминать об этом месте себе запрещал, будто был этот ожог не на земле, а на теле близкого человека. Он всегда шёл направо, по дороге через поле, на котором уже давно ничего не росло, и всё же его регулярно по весне поднимали, чтобы лес не забил. Потом оврагом, потом входил в деревья – и там отключался, шёл по наитию, никогда не запоминая и не отмечая дорогу, плутал, бродил, но в конце концов выходил куда надо – хотя мог и не выйти. Так уже случалось, прохаживал весь день, выбивался из сил – и возвращался домой ни с чем, голодный и усталый. Мучился потом одной мыслью: почему не вышел на поляну, почему его *не пустили*? И, подумав, всегда находил причину, ведь обязательно должна была быть причина: он был зол, или думал не о том, или вообще просто думал.

Потому что главное, что помогало выйти на поляну, как он заметил, – это не думать. Отключить голову. Просто идти.

Он впервые вышел туда именно так – случайно. Год назад, он только приехал, только обжился в родном, но напрочь забытом городе. Давила тоска, и он решил сбежать. Утром вышел из дома и пошёл, куда несли ноги. Но они выносили всё время в какую-то срань. Сперва – на плешь от завода, где было так гадко, что даже дышать не хотелось, зажимал нос, хоть и понимал, что за сто лет ничего вредного не осталось. Потом пошёл оврагом, нарвался на спонтанную свалку: кто-то свёз за город мешки с битым кирпичом, ломаные доски, куски рубероида, обрывки проводов и изоляцию... Всё это теперь торчало на дне оврага, зарастая лопухами, зарастая землёй, как дурная безымянная могила заложного покойника – такого, кого не принимает земля.

Дальше было поле, и в нём – коровы. Коровы после дождя. Он тогда ещё не знал, чем это чревато: два километра вязкого, жирного чернозёма, вспаханного прошедшим стадом в вонючую и липкую грязь. Он вывозился по уши, брюки, куртка, даже нос – всё было в грязи. Ему хватило ума в тот день обуть кеды, выходил же на лёгкую прогулку. Кеды скоро превратились в комья грязи, которые тащил на ногах как гири. Сперва ещё пытался выгадать дорогу, обходить осклизшие места, перешагивать подозрительные жёлтые лужи в отпечатках копыт, глубоких, как колодцы. Но потом это потеряло смысл. Он просто шёл. Пах коровой. За два километра вымок так, словно пробежал десять. Хотел было повернуть домой, но не то от усталости, не то просто всё продолжал идти, уже ничего не соображая.

Потом выбрался в лес, и дальше помнил плохо. Но странно, что эта же короткая потеря памяти случалась потом всякий раз. Помнил только, что был лес, и он по нему шаркался, не разбирая дороги. То тут, то там попадались следы присутствия человека, и всякий раз эти следы впечатляли его болезненно и жёстко: советская кукла без одежды, с запавшим одним и открытым другим глазом, с кудрявыми жёсткими волосами, она была засунута в развилку ствола берёзы, словно её пытали. Вдруг как забор вырос в облетевшем, колючем малиннике ржавый остов железной кровати, с шариками, колёсиками, с панцирной сеткой, на тонких ножках. Попалась газовая плита на две конфорки, белая эмаль скололась, дверца-разъём, но он её узнал: такая же плита стояла когда-то в доме у бабушки. Вспомнил сестрицу Алёнушку, встретившую в лесу печку, пока бежала за унесённым лебедями братом, и подумал: откуда бы в лесу печка? Откуда и эта плита. На оставленные кострища, вбитые в стволы металлические прутья, бутылки и мусор он уже внимания не обращал. Лес был исхоженный, люди бывали здесь, казалось, всегда, но сейчас отчего-то сгнули. А он остался, но он был в тот момент не человек, он сам не мог бы назвать себя человеком, глядя на всё это, болезненно шаркаясь от человеческого, шатаясь по лесу без дороги, – он не мог бы сказать, кто он, но точно не человек.

А потом вышел – как и всякий раз с тех пор выходил: неожиданно. Вывалился из буре-лома – и остановился. Место было обычное. Ничего особого: поляна и поляна. Трава густая, не вытоптанная, не съеденная, без прожжённых проплешин. Коряга – осина, здоровенная, толстая, упала давно, вросла уже в землю, обросла мохом, засыпало её листьями, вытянулась позади неё молодая ёлочка, получился шалаш. Низенький, мрачный, приближаться к нему не хотелось, словно там кто-то жил: не то лиса, не то лисун. Но другие ели, росшие в обрамлении поляны, – высокие, старые, с тяжёлыми тёмными лапами – были такие величественные, такое создавали чувство покоя, что он понял: дома. Стянул с себя сумку, кинул на землю, прилёг – и тут гроыхнуло и пошёл дождь.

Сыростью в воздухе пахло ещё с утра, но дождя он не ожидал. А полило как из ведра. Обалдев, сел, подтянул ноги, прижался к стволу. Под еловыми лапами было сухо. Капли барабанили, шлёпались в подстилку хвои в метре от него, но к корням попадало, только если налетал ветер или время от времени ветки здрагиали, выпрямлялись под тяжёстью влаги, как будто дерево отряхивалось. А в целом было хорошо.

Шумело, гудело, пахло сильно и пьяно. И он сидел, как пленник, только выглядывал из-под ветки, радовался, что так вовремя сюда дошёл. И поляна всё больше становилась своей,

будто вода породнила с ней, хоть и казалось по-прежнему, что под корягой кто-то прячется и за ним наблюдает.

Он всё равно потом вымок, конечно, пока шёл назад по мокрому лесу. Вымок, продрог, завалился домой затемно. Но поляна не забылась. И то, как было там спокойно, одиноко и хорошо.

Спокойно, одиноко и хорошо. За этим он и стал туда приходить. Всё лето и осень. Зимой оставил. Один раз попробовал, встав на старые отцовы лыжи, но не нашёл поляны – всё стояло одинаково белое, не было нигде знакомой коряги. Пришлось на зиму о ней забыть, и вернулся сюда только весной, когда земля совсем просохла и опушилась свежей травой.

Снова блуждал, снова не создавал, где плутает, отмечая только следы человеческие в лесу. Из свежего, неожиданного запомнилась табуретка, стоящая возле сухого обломанного дерева. Кому пришло в голову идти в лес с табуреткой? И ради чего? Но он забыл о ней, уже отвернувшись, и скоро вывалился к знакомому еловому шалашу.

– Привет, привет, как вы тут без меня? – сказал бодро, но запнулся: показалось, что пространство пустое. Что за чушь! Оно и всегда-то было пустое, что поменялось? Он мотнул головой, огляделся, стараясь прислушаться и даже не дышать.

Лес облетал. Осень только начиналась, сейчас в ней не было ещё яркости, а одна унылость и неизбежность. Небо было серым, набрякшим. Ветер гнал обрывки туч, почти задевая верхушки деревьев. Мертвенные, мокрые лоскуты листьев падали на землю безропотно и равнодушно. Земля, коряга, молодая ёлочка возле неё были укрыты палым листом. Взрослые ели держались мрачно и напряжённо, как гости на похоронах. Видно было, что эту мокрую, ветреную, неприветливую пору они не любят, как и всё живое, что ждут зиму, снега и тихого успокоения.

Всё это было. И всё же чего-то не было. Чего-то важного, без чего поляна оказалась просто поляной, а не домом, куда хотелось возвращаться. И Рома понял, чего не хватало: не было глаз, того внимательного взгляда, который он всегда на себе ощущал.

Вот выдумаешь тоже!

Он возмущённо мотнул головой, скинул на землю сумку и сел. Достал хлеб. Стал жевать и осматриваться бодро, словно самого себя старался убедить, что ему здесь хорошо. Но было не хорошо, а беспокойно и холодно. Впрочем, как везде.

– Ну и что, теперь и на дудке не поиграть? Зачем тогда пёрся? – сказал нарочито громко, чтобы силой голоса прогнать собственное напряжение.

Достал нойду, проверил пищик, покрутил в пальцах тростинку.

Облизал пищик.

Взял в рот, прижал губами, прикрыл все дырочки на стволе и изо всех сил дунул.

Но ничего не произошло.

Прямо совсем ничего – ни звука.

– Хм, – сказал Рома, покрутил тростинку в пальцах туда-сюда, подцепил пищик ногтем. Дунул опять.

Нойда взвизгнула так неожиданно и противно, что он резко отнял её от губ. Звук прокатился по поляне, даже показалось, деревья качнулись. Подул слабее. Теперь звук получился ровнее, мягче и больше походил на музыкальный инструмент, а не на раненое животное. Закрыв все дырочки, Рома подул, напрягая живот, стараясь поддерживать равномерный поток воздуха – и нойда запела свободно, громко, без визга, а так, как и должна. Рома дул медленно, прислушиваясь к её голосу. Осмелев, попробовал поиграть мелодию – и вдруг отнял инструмент от губ.

Потому что почуял: накатило из леса, налетело, как порыв ветра, только совсем не ветер это был, ударило и разбило о поляну, о корягу, и осталось здесь.

Рома обернулся: смотрит. Да, да, снова смотрит, он сильно это почувствовал. Аж продрало по спине морозом.

И он глядел тоже. Непонятно куда, в пустоту, в темноту под еловым шалашиком. Но глядел и знал, что его видят.

А потом улыбнулся.

– Ну, привет, что ли. Без тебя как-то не так, знаешь.

Взял нойду и заиграл.

И зазвучало хорошо. На удивление хорошо. Дудка слушалась пальцев, не подвывала и не захлёбывалась. Знакомые по другим инструментам простые итилитские наигрыши получались будто сами собой. Нойда пела, созывая небесных коров. Небесные коровы были довольны: верховой ветер усилился, обрывки туч, серых и лёгких, неслись в глубине неба с огромной скоростью. Даст бог, пролетит всё и выйдет солнце, домой пойдёт без дождя и в тепле. Так уже случалось, он замечал: уходил из дома в непогоду, а с поляны возвращался с солнцем, особенно если хорошо там поигралось.

Ерунда, конечно, всё суеверие. Он отнял нойду от губ, огляделся. Лес светился, в небе случилась прореха, и яркий луч, как небесная указка, быстро шупал по земле, озаряя пространство то тут, то там. Скользнул по поляне, по коряге, лизнул мрачные ели, вспыхнули унизанные каплями старые, надёжные паутины.

– Вот как, значит, – пробормотал Рома, улыбаясь и жмурясь, когда луч коснулся лица, на миг согрел и ослепив, но тут же уполз дальше. – Ну, спасибо.

Луч постоял ещё, потом стал слабеть, гаснуть, будто растворялся во влажном воздухе, – и потух. Небо быстро затягивалось тучами.

Уже при входе в город его настиг телефонный звонок. Рома даже вздрогнул: телефоном он почти не пользовался, даже с собой брал не каждый день. Номер был незнакомый. Рома остановился, глядя на него с подозрением, но решил всё-таки трубку снять – мало ли.

– Алло? Алло? Нидеро! – поздоровались из трубки по-итилитски. – Это Александр. Борисыч. Умрищев. Дядя Саша который я. Помнишь? Я ещё нойду...

– Да, конечно, я узнал. – Рома не стал переходить на итилитский. К чему, если для дяди Саши он – одна декорация. – Я как раз сегодня на ней играл.

– Играл? Правда? О!.. Так это же... Это прямо... Ух, ну я не знаю. – Дядя Саша захлебнулся эмоциями. Он силился что-то сказать, но не мог. Рома ему помог:

– Хороший инструмент, отзывчивый, мягкий. Сохранился отлично. Отдам при встрече.

– Нет-нет, не надо, вообще, это же... ну, как бы... Я рад. Я бы ещё, правда... ну, чтобы чего не вышло... Я так. Я совсем даже... Тут ещё другое. Человек один. Очень, очень. Я звоню познакомиться чтобы. Вас надо. Учёный, настоящий исследователь. Я рассказал про тебя. Он пятнадцать лет уже по культуре. Ну, в смысле, исследует. И его отец ещё. Династия, да. Я рассказал про тебя. Очень, очень. Познакомиться.

– Со мной? – понял наконец Рома. – Да я-то что...

– О, важно, нужно! Очень-очень!

– Ну, я даже как-то... Я же ничего ровным счётом... – Рома вдруг понял, что косноязычие может быть заразным. – Впрочем, спасибо, при случае – с удовольствием, – постарался свернуть разговор.

– Что при случае? Сегодня – ага? Сейчас. Я туда. Ты где? Приеду, встречу.

– Нет, нет, сегодня я занят. Я уже...

– Он недалеко, в центре. На Главном, от Спасской если – третий дом.

– Нет, я сейчас не... Я совсем... я это...

– Человек такой, понимаешь, очень-очень. Никуда не может, он такой, ну как бы тебе так прямо, у него это... ну, увидишь, он никуда, но про тебя сказал: веди, что хочешь, делай, а веди. Очень хочет, нужно прямо!

Рома скривился. Он уже перестал его понимать. Он не хотел, чтобы его трогали, и уж ни за что не хотел тащиться куда-то в центр, встречаться с каким-то «человеком очень-очень». Ему вообще после леса, после поляны и нойды не хотелось людей.

– Дядь Саш, нет, вы меня извините, но я сейчас никуда, – начал он твёрдо, но трубка его перебила:

– Он про Итильвана! Про Итильвана знаешь? Он сказал, что хотел передать. Тебе, если ты знаешь. Если ты в теме. У него есть, отец собирал. Много, да. И если ставить. Пьесу если ставить. Степанида Борисовна говорила, ты же с нами теперь, ну, театр, пьеса, ага? Если делать, про Итильвана, пригодиться же может, да? Я видел, там как раз про Итильвана...

Рома с напряжением пытался выдернуть обрывки смысла из его скомканной речи. Про пьесу он ничего не понимал, даже не пытался. А вот про Итильвана... Легенда про Итильвана? Неужели – настоящую нашёл? Не какие-то обрывки, а настоящую – ещё где-то помнили и кто-то записал? А что, если правда? Не то чтобы Рома был большим фанатом родной культуры. Но если это правда, это, по крайней мере, очень ценно.

Сам он ни разу легенды про Итильвана не слышал. Только знал, кто это, дед рассказывал. Но он не то не знал её сам, не то не хотел говорить. Не хотел передавать ему. Считал, что есть в ней что-то... Нет, Рома не мог бы сказать, что именно. Догадывался, чувствовал, но сказать не мог. И дед ему, тогдашнему, объяснять не стал. Сейчас, быть может, объяснил бы, Рома отчего-то был в этом уверен. Но где он теперь, дед...

Ладно, надо идти. Раз само в руки тянется.

– Хорошо, где встречаемся? – перебил Рома поток речи из трубки. – На углу Главного?

– На углу? Да, да, на углу. У вохры. Я жду.

И дядя Саша повесил трубку.

Рома был на месте через полчаса. Дядя Саша стоял, точнее, не стоял, а прыгал. Глаза его странно светились. Он был в сильнейшем возбуждении. Кинулся к нему и потащил вверх по Главному, как на приколе.

– Человек. Алёша. Рад будет. Я сказал уже, да. Он: ага, ага! Веди! – бормотал дядя Саша, сворачивая во двор и причаливая ко второму подъезду.

На Главном стояли всего три высоких дома – сталинские пятиэтажки, единственные в городе, каждый этаж сойдёт за два, лёгкие балкончики, лепнина на фасаде, всё как надо. В советское время здесь жили всякие заслуженные – партийные руководители, военные и начальники колоний, коих в здешних лесах было аж восемь штук. Из-за них дома с лёгкой руки бывших содержанцев, залетавших в Итильск после отсидки, стали звать вохрой.

Понятно, что с тех пор всё изменилось. Не в смысле колоний, но охране давали квартиры в других домах. И всё же статус элиты здесь сохранился. Элиты странной, с душком. К кому могли они идти, Рома представить себе не мог.

– Ужас вот, эти лестницы, – говорил дядя Саша с озлоблением, поднимаясь. Рома удивлённо оглянулся: лестница была чистая, винтовая, красивая. Что в ней не так? – Сколько просили лифт. Надо лифт. Это ведь ужас что. Коляску как на пятый, а? Это же просто, это я не знаю. И никто, никто. Сколько ни писали.

– Ну, из колясок-то вырастают рано или поздно, – обмолвился Рома, но дядя Саша его не слушал:

– И ведь не просто же важный – заслуженный. И отец, и Ванька... А уж Лёша! На руках носить надо! Так и приходится. Потому что – никто, никто. Только морды воротят, чиновники эти... Ну всё, пришли. – Дядя Саша остановился перед коричневой дверью на пятом и обер-

нулся к Роме, переводя дух. – Ты, главное, ничему не удивляйся. И делай вид, что всё так и надо. И ни-ни! – Он сделал строгое лицо, даже пальцем в воздухе потряс для острстки и только после этого нажал кнопку звонка. Рома автоматически кивнул, совсем ничего не понимая и ни к чему себя не готовя.

За дверью зашевелились. Щёлкнул замок, раз, потом второй. Дверь начала открываться.

– Ага, вот и вы, – послышалось из-за неё, но без особой как будто радости. Потом что-то зашуршало, дверь распахнулась – и Рома сразу понял, о чём говорил дядя Саша.

И что бывают коляски, из которых не вырастают.

– Мама! У нас гости!

Зашуршали колёса; человек отъехал и покатил в глубь квартиры. Рома беспомощно смотрел ему вслед. Он чувствовал жгучий, хотя и беспричинный стыд. Входить не хотелось. Хотелось малодушно сбежать. Дядя Саша подтолкнул его, Рома будто очнулся и шагнул за порог.

– А, Саша, миленький, как хорошо, что вы зашли! – Вытирая руки о передник, из кухни выходила красивая женщина. Рома ухватился за её лицо: улыбочное, круглое, мягкое, с отпечатком привычной, как бы приличествующей ей грусти, оно было приятное, моложавое и живое. – Елена Павловна, – представилась она, слегка кокетливо улыбаясь и протягивая мягкую тёплую руку. – Я Алёшина мама. Да вы проходите, в дверях не стойте. Саша, как у тебя дела? Тапочки вон. Обязательно, обязательно, у нас не мыто. Саш, помоги молодому человеку, ты же всё знаешь. А вы – как вас, извините?

– Роман.

– Рома, не стесняйтесь. Будьте как дома, у нас всё просто. Саша, дай Роме вон те, синие. Ну, всё, ведите. Ты же знаешь всё.

– Ага, ага. – Дядя Саша, обувшись, выпрямился и зашаркал по коридору. Елена Павловна скрылась в кухне.

Рома смотрел то в одну, то в другую сторону и чувствовал смятение. Очевидно, что идти следует за дядей Сашей, но он не хотел. Он боялся снова оказаться рядом с коляской, но всё же пошёл, стараясь не думать о ней, залипая вниманием на деталях: тёмный коридор, лампочка одна, а коридор высокий и длинный и весь застроен стеллажами, книги от пола до потолка, а на другой стене, сверху – велосипед, и зачем им велосипед, Рома чуть головой не задел колёса, а паркет на повороте исшоркан, в полосах – от коляски, догадался Рома.

И понял, что уже стоит, натянуто улыбаясь, на пороге комнаты.

Это был кабинет – светлый, большой, забитый книгами, картинами и музыкальными инструментами, которые были всюду – на стенах, в шкафах, на двух больших круглых столах, на полках, даже на широченных подоконниках. Возле окна стоял готовый к работе холст в подрамнике. У него, спиной к двери, сидел Алексей. Он расчерчивал холст резкими, решительными движениями, ложились чёрные линии, не то уголь, не то грифель. Алексей не обернулся, он работал яростно, даже ожесточённо. Дядя Саша, видимо, к такому привыкший, сделал большие глаза и прижал палец к губам, а потом развёл руками по комнате, приглашая пока оглядеться.

Рома послушно стал оглядываться. Одна стена была отведена под книжный шкаф, не тощий стеллаж, как в коридоре, а основательный, массивный, советский, со стеклянными дверцами наверху и глухими снизу. Книги стояли в два ряда, лежали друг на друге, но места им всё равно не хватало, они собирались стопками на крыше шкафа, на полу возле дверец, под столом – всюду. Книги были разные, старые и совсем свежие. «К вопросу о расселении восточнославянских племён на Западном Дунае в VI–IX вв.», – прочёл Рома. «Классика геополитики», «Этногенез как кузница народов». И так далее – пробежав глазами по одной полке, Рома не нашёл ни одного художественного тома.

На другой стене висели картины – пейзажи, очень реалистичные, даже излишне правильные. Попадались рамки с фотографиями, черно-белыми и цветными. Рома приблизился: на

них были горы, заснеженные склоны, пики ледников, группы туристов, оседлавшие их. К рамкам приколоты яркие треугольники спортивных флажков с эмблемой клуба, на полке стоял золотой глобус, тоже, наверное, за что-то мужественное.

А ведь Рома и подумать не мог, что в Итильске есть такие люди – художники, учёные, альпинисты. Ему казалось, что тут одна алкашня, а в вохре, разумеется, живут гэбэшники, а вся интеллигенция собралась в их ДК, а что это за интеллигенция, Рома знал, и думать о ней было кисло.

По кобыле и седло, вспомнил присказку деда. Вот эти товарищи уж точно не станут киснуть в ДК с Кочерыгой, Тёмычем и пошлейшими «Родными просторами». Вот эти крепкие, знающие себе цену люди. На фотографии, на которую Рома смотрел, два бравых парня, приобняв друг друга за плечи, улыбались и махали в камеру, стоя на какой-то вершине мира. Сразу видно, что вершина: на лицах массивные солнечные очки, сами во всём дутом, тёплом и ярком, в руках одного – ледоруб, у другого – флаг, сейчас развернётся, сделает шаг вон до того холмика и воткнёт в снег рядом с другими, на самом пике, за которым уже ничего – сплошной ультрамарин.

Алексей всё не оборачивался. Кресло изредка поскрипывало, на холсте чёрных линий стало много, сплошная мешанина, но ничего не проступало, или Рома не мог рассмотреть. Отлипнув наконец от фотографий, он вернулся к дяде Саше, всё это время терпеливо стоящему рядом с полкой с инструментами. Больше место там занимала колёсная лира – крупный деревянный ящик с ручкой и клавишами. Рома знал, как он работает, но никогда не видел. И уж тем более не подозревал, что у кого-то в Итильске такая есть. Рядом лежала волынка, небольшая, с белым мехом и тёмными трубами. Не шотландская, что-то попроще. Много духовых, самых разнообразных, аж глаза разбежались, на стене висели небольшие бубны с железными тарелочками, а на полу, прислонённая к стене, стояла совсем неведома штука – виолончель не виолончель, а деревянный ящик, квадратный, со струнами из лески на высоком грифе, гнутый смычок – из прута.

– Что это? – спросил Рома шепотом.

– Амкован, скрипка итилитская, – поспешно и тоже шепотом ответил дядя Саша.

– Ни разу не слышал.

– О, редкая, очень! Сергей откуда-то привёз. Был весь... весь совсем такой вот. – Дядя Саша стал быстро махать руками, будто отламывал куски инструмента. – Где лежал, как хранили – ужас! Я делал. Переделал.

– Реставрировали? – догадался Рома.

– Ага, я, да, – дядя Саша закивал. – Но всё точно. Всё же видно было. Струн – три. Две – бурдон. Бурдон, знаете? У-у. – Дядя Саша загудел, изображая подголосок. Рома закивал. – Ну вот. На колено – так, и смычком. Не мелодии, а так, как бы это... Ну, чтобы не сольно играть. Сольно не играли, ансамбли: амкован вот, потом тровень – это вот...

– Волынка? – понял Рома, куда показывал дядя Саша.

– Волынка, да. И дудка какая-нибудь. Любая. И так ходили. По праздникам ходили по деревням.

– Ни разу не слышал, – удивился Рома. – Очень интересно.

– Я не знаю, это Алексей, он расскажет, он знает, наверное, это же Серёжа всё собирал, – быстрым шепотом, пригнувшись к Роме стал говорить дядя Саша, импульсивно кивая в спину Алексея.

– Я уже почти закончил, – отозвалась спина. – Я присоединюсь к вам через минуту.

Дядя Саша тут же замолчал и выпрямился, даже отодвинулся от Ромы, будто их застучали за сговором. Алексей откинулся и любовался на свою чёрную мешанину. Минута прошла, он не двигался. Вдруг снова схватил уголь и принялся дополнять короткими штрихами.

Рома заскользил взглядом по инструментам.

– Это вы всё делали? – спросил шёпотом дядю Сашу.

– Нет, нет! Это настоящее, почти всё. Серёжа много, очень много собрал. В музее ещё есть. Видел в музее?

Рома пожал плечами – в музее он видел две маленькие свирели и глиняную уточку, куда же без неё. Ничего особого.

– Он много привозил, много! Потом – чертежи, эти самые – рисунки, сам вот учусь теперь по ним. А это – оттуда всё, как есть. Серёжа много собирал, всё, что мог. Он писать хотел. Про культуру итилитов. Он русский, а язык выучил, хотел словарь составлять. Даже составил, я видел. Ты видел? Нет? Где-то тут. Я покажу. Найду. Он хорошо говорил. Лучше, чем я. – Дядя Саша виновато улыбнулся, так что глаза его стали наивные и светлые.

– Удивительно, что люди ему отдавали инструменты, – покачал Рома головой. – Итилиты закрытые. Они могли и не показать, если русский приехал.

– И не показывали! И не показывали! – Дядя Саша, казалось, обрадовался догадливости Ромы. – Он долго ездил, в одно место – год, второй, потом снова. Только так, да. Они очень, очень... – Он сморщился. – Чужаков не того.

– Не того, это точно.

Рома усмехнулся. Он хорошо мог представить, как посмотрели бы на приезжего его собственные ами и ати. И что они бы ему дали – да ничего. Нет, угостили бы, конечно, раз в дом вошёл. Но пустить могли только вечером и только если деда или кого из дядёв не было на реке. Будь кто за рыбой – всё, ами не пустила бы чужого ни за что: плохая примета. Заперлась бы и не выглянула даже, будто нет никого – лишь бы ушёл, дурное с собой унёс. Ну а в другое время пустили бы, угостили, что-то рассказали. Через сомкнутые губы. А потом ами после него всю посуду перемывала бы в кипятке. Пол выметала и проветривала сутки. От чужих всегда аковён да ковён, говорила она. Болезни и сор. Ну и всякая дурнота.

– Написал бы – хорошо было. Очень, очень! Но не успел, – говорил в это время дядя Саша. – А материала много. Очень! Я пользуюсь вот. Алёша тоже...

– И Алёша тоже, – откликнулся тот неожиданно, и коляска бесшумно развернулась. – Не заскучали? Успели оглядеться? Мне Александр Борисович много о вас рассказывал. Мне сразу познакомиться захотелось. Надеюсь, вам будет интересно.

Он говорил быстро, вытирал ладони влажными салфетками, одну за другой таскал их из пачки, смотрел цепко, но без улыбки. Глаза его, голубые, ясные, были холодные и злые. Он был очень худ, так что остро выступали на лице все кости – скулы, нос, виски, всё было очерчено болезненно резко, будто не у живого человека, словно сделанное из пластика. Но при этом лицо было живое, серьёзное и умное.

Рома почувствовал себя насекомым под его пристальным взглядом.

– Вы только не подумайте, что я вас, как отец, изучать собрался. – Алексей будто прочёл его мысли. – Александр Борисыч сказал, вы инструментами интересуетесь. Сами играете? А ещё язык знаете, это правда?

– Стараюсь. – Рома кивнул, улыбнувшись.

– В семье говорили? – быстро спросил Алексей, не поддерживая этой улыбки.

– По маминой линии – да. Они из деревни, там по-другому...

– А откуда именно? – перебил Алексей. Рома назвал район. Они с дядей Сашей переглянулись.

– Слышал. Говорят, глухое место. Отец не доехал.

– Так туда и дорог-то не было. До недавнего времени, я хочу сказать.

– Да, да. По Итили надо. И у них ещё это было... как его. Отхожие острова, так? Это когда люди половину года на реке, а сёла как вымершие, – объяснил зачем-то Алексей, обернувшись к дяде Саше. Тот кивнул. Не то правда не знал, не то претворился.

– Было такое, да. – Рома кивнул тоже. – Только островов давно не стало. Затопило все острова. Как плотину построили.

– Ах, да? – Алексей посмотрел на него, будто впервые слышал о подъеме реки. – Вот ведь. И как же?

– Никак, – Рома пожал плечами. – Избы перекатили. Рыбачили с лодок.

– А уходили? Уходили куда?

Рома промолчал. Алексей внимательно смотрел, будто что-то пытался высмотреть в лице, в глазах. «Так я тебе и сказал, куда уходили, – подумал Рома. «Река шептала, как ами говорила. Куда укажет, туда и уйдут».

Алексей понял, что ничего не услышит, развернулся и отъехал к своему мольберту.

– Теперь там всё поменялось: свет, вода. Автобус два раза в неделю. Цивилизация, – говорил Рома. Без этих глаз стало как будто легче.

– Да, я знаю. Отец рассказывал: жизнь менялась, но отношения всё равно оставались прежним. Я имею в виду, к приезжим. Поэтому он к отхожим в последнюю очередь собирался. Сперва других изучал, кто поближе.

– Так вы со мной об этом поговорить хотели? – брякнул Рома. – Только я ведь там не...

– Нет. – Алексей резко развернулся. – Я не исследователь, я же сказал. Мне типаж интересен. И подумал, что вам тоже интересно будет. У отца большой собран материал. Не обработанный. Не опубликованный. История, культура, быт. Фольклор. Посмотрите. Вон, третья полка.

Алексей кивнул на шкаф. Рома послушно подошёл. Он чувствовал уже, что его начинает потряхивать. Ничего хорошего от этой встречи он не ожидал, но получалось совсем уж криво. Что он мог здесь найти, чего не знал? И ещё другой вопрос: хотел ли знать? Хотел ли видеть, как его народ – он так и подумал про себя «мой народ», и тут же передёрнуло до макушки, – как итилитов препарировали, собирали, нанизывали на иголки, как насекомых, и расставляли в ящички в алфавитном порядке? Как из живого делали засушенное, из уходящего – сохранённое. Только кому оно нужно сейчас, это сохранённое? Деда нет, бабки тоже, дядья спились, никого в доме не осталось. Одна сеть висит и сохнет на яру. Болтает её ветром. Он так её и запомнил, когда последний раз приезжал – знал, уверен был, что в последний. Белая сеть, белый стяг оставленного дома. Болтается на ветру. И свинцовая Итиль, мрачная, до самого горизонта – над родовыми их островами, над домами, над жизнью и нежизнью, со всеми покойниками, душами – родная Итиль, ана-ами Итиль.

– Да вы берите, не стесняйтесь, – услышал голос Алексея. Сидит. Наблюдает.

Захотелось уйти, прямо сейчас. Но рука сама потянулась – открыл створку, заглянул в шкаф.

Полка была забита толстыми тетрадями. Белые, одинаковые корешки, сверху торчат карточки. Отец Алексея был человек аккуратный, сразу видно. Всё по категориям: «История», «Сказки», «Предания», «Быт». Рома потянулся к той, что поближе. «О происхождении мира» – было написано на ней. Почерк красивый, крупный, круглый. Переписано начисто, без сокращений. Чтобы удобно было читать. Чтобы легко издать.

– «Не было ни земли, ни неба. Одна пустота. И вода вокруг, вроде океана, – начал читать с первой страницы. – А потом из воды вынырнула утка. И стала летать. Но не было ничего, негде ей сесть, чтобы вывести птенцов. Стала она нырять и доставать ил. Слепила из ила острова. На тех островах снесла она яйцо. В свой срок оно раскололось, и вышло из него солнце, а половинки яйца стали землею. А вода та большой рекою стала – Итилью, говорят».

– Любопытно, – сказал Алексей, когда он закончил. – Любопытно, что вы именно это открыли в первую очередь.

Рома поднял глаза. Алексей успел отъехать к окну и смотрел на него оттуда. Теперь он был в контровом свете, лица не видно, только тёмное пятно в ярком белом сиянии, но Рома по-прежнему чувствовал его внимательный, пристальный, без улыбки взгляд.

– Отец тоже больше всего ценил именно легенды. Они совершенно особые, отличаются от другого, окружающего населения. И мне тоже всегда казалось, что психотип нации определяется мифологией. А вам так не кажется?

– Мне? Да мне как-то... я не знаю даже... Никогда не читал...

– Ну, вам-то читать и не обязательно. У вас не рассказывали? Легенды, сказки. Не слышали? Про большой переход, как итилиты здесь обосновались? Про отца-медведя? А про Итильвана?

Рома почувствовал, как злость поднимается к горлу, будто затопляет изнутри. Голос Алексея, прозрачный, ясный, работал как скальпель, и Рома чувствовал, как он вскрывает, влезает, пытается проникнуть всё глубже. Но отвечать не хотелось. И не потому, что было в этом что-то особое, тайное. Да плевать ему давно на все эти легенды, нечего тут скрывать или хранить! Спроси кто другой, хоть бы вот дядя Саша, сам бы рассказал всё, что слышал от бабки, от деда, от дядёв и даже от мамы, она тоже что-то помнила, хоть в деревне только в юности жила. Но сейчас не мог и не хотел. Наоборот, хотелось запереться, молчать, а ещё лучше – убраться отсюда поскорее.

– Нет, ничего такого у нас не рассказывали, – сказал он, чувствуя, что поднимает между ними стену. – И вообще, есть вещи, о которых не говорят, – добавил неожиданно для самого себя, укладывая на эту стену последний кирпич.

– Конечно, я понимаю! – Казалось, Алексей такому ответу обрадовался. – Табуированные темы, запретные имена. Всё понимаю. Да вы не переживайте так. – Его голос вдруг стал человеческим и тёплым. Скрипнуло кресло, он выехал из света. Глаза его будто оттаяли, смотрели с живым интересом. Почти дружески. – Поверьте, я ничего не знаю. И отец не знал, ему никто так ничего толком и не рассказал. Какие-то обмолвки, оговорки. Или вот это – ну, что вы прочли, про утку. Это же не ваше. Это у всех. Возьмите, вон, почитайте, – он махнул за спину, на другие шкафы. – Коми, финны, мордва – этой утки у кого только нет! Ну, скажите честно, у вас про утку рассказывали? Молчите. Вот и отец когда спрашивал – молчок, табу. Никто ничего. – Он усмехнулся. Рома почувствовал, что невольно усмехается тоже, и тут же себя одёрнул: выходило, что он становится с ним на одну сторону. – Ни про медведя – как там его у вас называют? Умбár? Ни про Итильвана. Ну и уж, конечно, ни про переход. Это вообще страшное что-то, все считали, что и говорить, и даже думать... – Он снова усмехнулся. – У нас только предположения, догадки. Что итилиты себя чем-то вроде пограничников считали. Так?

Рома замаялся. Странно было подумать об этом. Странно было назвать это таким словом. Хотя близко, конечно. Да.

– Народ, оставленный на границе, – продолжал Алексей. – И на географической – реке, и на другой тоже. Метафизической, так сказать. Ну, вы понимаете.

Он со значением, выразительно посмотрел снизу вверх. Рома неуверенно кивнул. Хотя для него всё это выглядело несколько иначе. И звучало по-другому. Но ведь можно и так сказать. Почему бы нет.

– А вы знаете, что исторические сведения совпадают с легендой о большом переходе? – шарахнул вдруг Алексей. – Вряд ли знаете. В русских источниках про это нет. В русских про итилитов – ноль. Их долго от других не отличали. Кто тут только ни жил – и татары, и чуваша, и мордва, хазары, булгары, половцы... Кто разберёт? Так вот, в арабских, как ни странно, хрониках сохранились сведения. Легенды, так скажем. Про народ, пришедший из степи. Я не знаю, если честно, где именно это отец нашёл, никогда не интересовался. Но сведения прелюбопытные. Так вот, народ этот кочевал. Было их тьма, докатились они до Итили – с запада, судя по всему – и столкнулись с чем-то таким... С чем именно – непонятно. Но с чем-то, что их не

пустило дальше. Но не люди, не автохтонное население. Людей они перешагивали, люди им были – трава. Однако здесь что-то их дальше не пускало. Какое-то колдовство, что ли. И жили они тут долго, лет десять или вроде того. Для кочевников это, сами понимаете, очень много, уже кибитки в землю вросли. А потом справились и ушли, но часть своего племени оставили. Так сказать, заложниками. Для охраны вроде как границ. Половина этих, оставшихся, причём была на правом берегу, половина – на левом. Ну, дальше вы и сами, я так полагаю, знаете.

Рома кивнул. Про правоитилитов, тераитов он знал. И дед, и отец рассказывали, хотя никто их не застал – они исчезли ещё в конце девятнадцатого. Растворились – не то ассимилировали, не то умерли в голод.

– У меня кто-то из родни невесту с правого брал, – ляпнул Рома, хотя ничего не собирался рассказывать. – Не то прабабушка моя. Не то ещё раньше.

– О, видите, как. Ну, такое часто случалось, если я не ошибаюсь. А если вернуться к истории, то было это всё задолго до хазар. Отец приблизительно посчитал – что-то около шестого-пятого веков. До новой эры, разумеется. Чувствуете? Хазары когда появились, те уже давно осели, и ничего от кочевников в них не осталось. Одна легенда. И именовали себя итилиты по названию реки. Ну что, похоже на правду? На легенду о большом переходе?

Рома замаялся. Сказать «да» – и согласиться непонятно с чем, сказать «нет» – и покривить против правды. А правда была в том, что никакой легенды он не знал. Не то её действительно не было, не то ему её не рассказали. Общее с тем, что он сейчас услышал, было только одно: заложники, отданные реке, и не сдвинуться с этого места. Кто уйдёт, тому счастья в жизни не будет. Он пробовал, по себе знает. А если весь народ сгинет, то что-то здесь случится. Но что – никто не говорил. Что-то разрушится, исчезнет некая связь. Рома всегда понимал – да и не он один, – что раньше речь шла про перевоз. Итилиты держали перевоз во все времена, соединяя разорванные рекою части света. Но и потом, когда мосты навели, само чувство это – что они что-то соединяют, что-то важное, что без них никак, – осталось.

Ати говорил: нас не станет, Итиль иссякнет. Неправда, всё неправда. Вот итилитов почти нет, а река как текла, так и будет. Если что-то и рухнуло, так это чувство ясности. Жить с пониманием своей роли в этом мире, пусть и маленькой, но важной, куда как проще. Русские, к примеру, тоже себе всё время миссию придумывают. А чем они хуже?

– Алёшка, ты гостя совсем замучили, – раздался вдруг в дверях бодрый голос, и вошла Елена Павловна, внося с собой сытный дух выпечки. – Вы его извините, всё время старое правило забывает: сначала гостя накорми, напои, а затем уж пытай, – говорила уже Роме. – Но он такой – нелюдимый, сидит тут сиднем, до человека дорвётся – не может наговориться.

– Да, нет, что вы, всё нормально... – забормотал Рома, смутившись. Её появление как будто развеяло некий туман, висевший в воздухе, Рома с трудом ловил, о чём только что думал, о чём они говорили.

Однако Алексей ничуть не досадовал на её появление.

– Да-да, мама, ты права, – говорил он равнодушно и на Рому даже не смотрел, как будто уже получил от него всё, что хотел, и потерял всякий интерес.

Рому кольнуло: показалось, что всё это было срежессировано и он тоже невольно играет в их спектакле. Стало неприятно.

– Давайте-ка тогда на кухню, – театрально повела рукой Елена Павловна. – Чайку, пирожков. Там договорите.

Дядя Саша, уже притомившийся от молчания, сразу ожил и, потирая руки, отправился первым, бормоча какую-то благодарственную несурязицу. Рома ещё колебался. Стал оглядываться, потому что показалось, что уйдёт он сейчас и больше сюда не вернётся, а тут оставалось столько всего, на что даже не успел кинуть глаз.

– Пойдёмте. У вас ещё будет возможность. Я надеюсь, не последний раз. – Алексей подвёхал вплотную и выжал его из комнаты.

На кухне всё было заставлено вазочками с цветами, тарелочками, старомодными сервизами за стеклянными дверцами шкафчиков – совершенно в ином стиле, но всё же в духе этой музейной квартиры. Пахло пирогами. Рома вспомнил, что не ел с утра, как вышел из дома, и махнул рукой на неприятный разговор: хоть поест по-человечески. Дядя Саша и Елена Павловна весело переговаривались, причём Елена Павловна помогала дяде Саше справляться с косноязычием, предугадывала его шутки, заканчивала их, переделывала и сама же смеялась. У них получался складный тандем. Рома молчал и ел. Ему подливали чаю, подкладывали ватрушки, но не трогали. Алексей был дружелюбен, изредка поддерживал шутки, ел мало. Сейчас, когда он сидел напротив, когда оказался вровень, неуютное чувство отступило. Роме рассматривал его исподтишка. Его едкие глаза почти потухли, он вяло следил за беседой, вяло ковырял вилкой пирог, чай налил в блюдечкой и с рассеянной улыбкой следил, как пляшет пар на светлой плёночке. Только вдруг Рома снова чувствовал, что он тоже наблюдает за ним, и, обернувшись, находил прежние, живые и внимательные глаза. Столкнувшись взглядом, Алексей улыбался и кивал. «Ты за мной наблюдаешь, так и я за тобой буду», как будто говорил он.

– Ой, а правда, что вы работаете в нашем ДК? – обратилась вдруг к Роме Елена Павловна. – Александр Борисыч говорил. И как там? В каком состоянии итилитская народная культура?

Алексей фыркнул, закатывая глаза.

– А что такого? – вспыхнула она. – Я хочу знать.

– В каком состоянии? В состоянии районного ДК, – ответил Рома, делая вид, что не замечает их стычки.

– Ну и как же? – припала к нему Елена Павловна.

– Ну, так. Люди на зарплате. Работают народными артистами.

– Так я не про это, а каково оно? Неужели совсем...

– Мама, это всё клюква, – поморщился Алексей.

– Вот почему ты всё сразу знаешь? Наперед, я хочу сказать. А мне вот интересно. Если я захочу ознакомиться с итилитским народным творчеством, куда мне идти? В ДК, конечно.

– Ой, нет, только не в районный ДК! – Алексей умоляюще закатил глаза.

– Но где же ещё? Город у нас маленький, возможностей нет...

– Хорошо, мама. – Алексей открыл глаза и решительно, не глядя на мать, стал кивать на дядю Сашу: – Вот видишь этого человека? Если ты захочешь познакомить кого-то с итилитской культурой, современной культурой, я хочу сказать, тебе надо идти к нему. К нему, а не в районный ДК!

Дядя Саша обомлел. Он покраснел так, что просвечивало даже из-под бороды, открыл рот, забыл закрыть и смешно замахал руками, принялся косноязычно отговариваться от такой чести. Но Елене Павловне эта мысль очень понравилась, она повеселела и принялась убеждать дядю Сашу, что Алёша прав, всё так и есть, это должна стать его миссия, он просто обязан – нести итилитскую культуру в массы...

Алексей откровенно смеялся, глядя на них обоих. Рома почувствовал к нему симпатию. Всё, что в комнате его раздражало – едкий ум, наблюдательность, даже талант, – всё, что вызывало ещё большую жалость, сейчас так не действовало. Роме уже не казалось, что он пытается использовать свою ущербность, чтобы унижить других. Он видел теперь просто умного и очень деятельного человека, который оказался заперт в своём мире. Как ещё ему себя вести? Роме жгуче захотелось вернуться в комнату и поговорить с ним уже по-нормальному – теперь он знал, что это возможно.

Однако после чая разговор не возобновился. Неожиданно Алексей замкнулся, стал бледным, молчал и водил ложкой по скатерти. Лицо его ожесточилось, будто он терпел боль. Елена Павловна с тревогой посматривала на сына, потом встала, принялась убирать со стола посуду. Дядя Саша засуетился – стало ясно, что пора уходить. Рома поднялся.

Когда они уже обулись, Елена Павловна вышла в коридор проводить их. Алексея не было. Они снова принялись шутить с дядей Сашей. Рома скучал, ожидая, когда они накурлычатся. Он открыл дверь. Прохладный воздух, пахнувший влажной затхлостью подъезда, потёк в квартиру.

Тут в коридор въехала коляска.

– Послушайте, мне жаль, что у нас с вами разговор не сложился, – сказал Алексей, подъезжая к Роме. – Возьмите вот – здесь кое-что из экспедиционных материалов отца, я думаю, вам будет интересно. – Он протянул тетрадь в синей, покособившейся обложке. Рома перевёл глаза с рук на его лицо. Он совершенно не понимал, что отвечать и как на это реагировать. – Я понимаю, вам было неприятно, ну, всё это. – Алексей кивнул на комнату. – Но во-первых, если я был груб, то не намеренно, вам надо простить меня. А во-вторых, поверьте, мы так много не знаем о том, о чём должны бы знать, но в этом греха нет. Грех отказываться от знаний.

Он говорил коротко, не смотрел в глаза и выглядел больным. Рома растерялся.

– Да, конечно, я понимаю, к тому же в одной деревне одно, в другой другое, знать всё невозможно, – забормотал, хватаясь за тетрадь. Алексей не слушал его и уже уезжал в комнату. Рома понял, даже скорее почувствовал, что ему очень плохо.

– Алёша, ты подумал? – раздался в этот момент голос Елены Павловны. Её лицо было жёсткое и злое. Рома не ожидал, что человек может так быстро преображаться – никакого гостеприимства, одна злоба.

– Мама, не вмешивайся. – Алексей не смотрел на неё. В плохом свете в коридоре его лицо казалось восковым и жёлтым. Он сжался в кресле. Казалось, ему даже до комнаты доехать будет сложно.

– Это архив отца. Это не разобранный архив отца, – давила Елена Павловна. – Ты обещал, что займёшься этим. И что ты делаешь? Разве можно – раздавать кому попало!

Рома почувствовал жар. Он рефлекторно протянул тетрадь обратно, но Алексей даже не посмотрел в его сторону.

– Мам, успокойся. Я знаю, что делаю. Во-первых, остались копии, отец ещё делал...

– Ну и что! Что с того? – Елена Павловна явно была в таком состоянии, что не желала ничего слушать. Она набрала воздуха, но Алексей вдруг крикнул, отрезая любые доводы:

– А во-вторых, я сам знаю, что делаю!

Елена Павловна дёрнулась к стене и замолчала, на лице её застыла болезненная и злая гримаса. Повисла тишина. Рома не понимал, что теперь делать и надо ли что-то делать вообще. Дядя Саша оглядывался. Алексей сидел, закрыв глаза. Похоже было, что на крик у него ушли последние силы.

Наконец он крутанулся вокруг своей оси и уехал в кабинет. Его мать, отвернувшись от Ромы, с застывшим выражением смотрела в пустоту.

– Вы... если так... вот... – Рома протянул тетрадь. Она не обернулась, она будто ничего не видела и не слышала.

– Пшли. Пшли. – Дядя Саша, делая большие глаза и подмигивая всем лицом, буквально вытолкнул Рому в подъезд.

Хлопнули дверью. Дядя Саша потащил Рому вниз по лестнице. Только через два пролёта стало слышно, как наверху дважды провернулся замок.

На улице полегчало. Дышать стало свободней.

– А ты ему понравился, – сказал дядя Саша, когда они вышли из двора и остановились на перекрёстке у светофора. Рома покосился с недоверием.

– Неудобно получилось.

– Не берите, не берите! – Дядя Саша прикрыл глаза и замотал головой. Рома понял, что «не берите» относилось как раз к ней, к голове. – Леночка – такая, она – да. У неё – видите, у неё – Алексей, и всё. Архивы – что осталось. От прошлого. От Серёжи.

– Я понял, конечно. Но я и не претендовал...

– Конечно, конечно! – Дядя Саша замахал на него руками. Загорелся зелёный человечек, он шагнул в своём замкнутом мире, бодро отмахивая рукой и не зная, что никогда никуда не дойдёт. Рома подумал об Алёше и шагнул на дорогу.

Они перешли Главную и свернули в сторону Нагорного.

– Вы понравились. Алёша – такой. Он чует. С другим и не заговорит. Я уже замечал. Цените. – Дядя Саша усмехнулся, посмотрев на Рому с лёгкой завистью. Рома пожал плечами. – Прочтёте – приходите. Придёте ещё? Ему надо. Дома, один, видишь ведь. – Он снова скатился на «ты» и не заметил этого. – Можно без меня. Один приходи. Не оставляй его просто. Один, совсем. А он – общаться, людей видеть, ему надо. С Леночкой надоели друг другу, а больше – никого.

Рома не отвечал. Держать тетрадь под мышкой было неудобно, как градусник. Он остановился и положил её в сумку от противогаза.

– Лестница у них такая. Как он спускается с пятого этажа?

– Никак. Раз в год. Больница, соцзащита – ну, надо, знаешь, это всё. Я прихожу, ещё один есть, крепкий такой.

– А сделать что-то?

– Что! – Дядя Саша горестно замахал на него руками. – Писали, всё время, до сих пор пишем. И что? Хоть пандус, хоть что. Ничего! Да он лёгкий. Он кило сорок дай бог, и того нет. Одна голова. Несёшь и думаешь – одна голова. Жалко. Мальчик такой был... Да ты видел, там. Фотки.

Рома взгляделся в его лицо. Ему показалось, что он перестал понимать речь дяди Саши совсем. Дядя Саша догадался и принялся ещё активней жестикулировать:

– С братом там, с Ванькой. Эльбрус, ну, видел же. Горы. Там... вот это всё... О, это такая семья! Была семья. Серёжа – всё делал, всё! Книги писал, картины – тоже, фольклор собирал. Спорт, фото, фильмы начинал делать. Он преподавал, знаешь, нет? История, в педколледже. У нас здесь. Его в район звали, но ему здесь хотелось. Собирал всё, близко. Из района не наездишься. Ну, сыновья тоже – картины, стихи, песни. Ванька – он альпинист. Он на восемь лет старше Лёшки-то. Со школы ещё – Кавказ, Таджикистан, ну, это... куда там ещё, не знаю. Потом Лёшку стал брать. Серёжа с ними тоже ходил. Я говорю – спорт, все дела. Очень крепкий был. Очень. Решил все восьмидесячники того – ну, как у них там называется? Лёшка – он нет, ему наука, в Москву поступил, учился хорошо. Потом поехали на Кавказ. И ладно бы там чего-то, я не знаю, высота большая. А так ведь... Но одни были, понимаешь. Никого. И – лавина. Всех троих – в один раз.

Дядя Саша замолчал. Рома смотрел на него и не верил, что такое бывает. Путаные, рваные слова плохо складывались в единую картину, всё казалось: может, он чего-то недопонял, может, всё не так?

– А Алёша как? – спросил, когда стало ясно, что дядя Саша ничего добавлять не собирается.

– Ванька вынес.

– Ванька?

– Да. Крепкий был, говорю. У Лёшки – позвоночник. Ноги отказали прямо там. Ванька – нашёл, на руках нёс. Вниз, куда там, не знаю, к людям. Долго. Это всё... сколько, чего. Но донёс, отдал. А сам – назад. Отца искать.

– А МЧС? – перебил Рома.

– Что – МЧС? МЧС пока приедет. Он – сам. Ну и – вот. Сердце. Перепады высот, что ли, не знаю. Или так, нагрузка. Крепкий был, да. Но сердце – оно вот так. На полпути нашли. А Серёжу – нет. Серёжа там так и остался.

Они помолчали. Незаметно дошли до сквера Победы, остановились у лавочки. Роме надо было дальше, в Нагорный, куда шёл дядя Саша, он не знал. Стояли, молчали. В кустах у тропинки копошились воробьи. Ворона, подцепив что-то из мусорки в шаге от них, круто взлетела на верхушку берёзы и трижды крикнула сверху. Рома поднял голову, посмотрел на неё и на синее, вечернее уже небо. Мыслей в голове не было.

– Лёшка – тоже крепкий. Они все, видишь. Справился. В коляске – а всё, как раньше. МГУ свой закончил. В аспирантуру намерен. Картины, стихи, песни – всё, как раньше, говорю же. Хотя для Лены – живой, и то хорошо. Что живой. Там сложно всё. И позвоночник, и почки, и... да много. – Он скорбно махнул рукой.

– А как у них фамилия? – спросил Рома. Только сейчас догадался.

– Соловьёвы. Алексей, Иван, Сергей.

– Соловьёв? И стихи... Алексей Соловьёв? – В голове будто щёлкнуло. – Так ведь я же его знаю! Ну, в смысле стихи. Мама, когда ещё в лито ходила, приносила. Да, точно! У меня дома две книжечки. Два сборничка таких, тоненьких, белых.

– Ага, ага! – Дядя Саша нервно кивал головой. – Ага!

– Я читал. Они и правда... Мать много всего тогда приносила, но это... Я помню очень хорошо.

– Так что же! Ведь надо – сказать! Он же так, он, ему – важно! Обрадовать! Важно! – Дядя Саша вцепился в руку, он пучил глаза, сам покраснел, его разрывало. – Назад! Назад, а!

– Нет, нет, погоди. – Рома понял, что не хочет возвращаться. – Сейчас не надо. Пусть отдыхает. Мы его утомили, видно же. А я перечитаю. В следующий раз приду и нормально поговорю. Я их помню, но лучше – когда свежо.

– Да, да. – Дядя Саша серьёзно закивал. – Это да. Понимаю. Да. Но только – обязательно. Нужно, обязательно. Ага?

– Ну да, конечно, я же сказал.

В этот момент к остановке на углу, звеня рогами, подкатил троллейбус.

– Это что? – Дядя Саша близоруку сощурил глаза. – Тройка, нет?

– Тройка, – кивнул Рома.

– О, побежал! Давай, созвонимся. И спасибо! – кричал уже на бегу, оборачиваясь и размахивая руками. – Спасибо!

Рома проследил, как он запрыгнул в заднюю дверь уже отъезжающего троллейбуса, и пошёл по скверу к площади, мимо родного ДК – дальше, в дебри Нагорного. В душе, как ни странно, было тихо и покойно. Как только он вспомнил те две невзрачные, изданные в местной типографии за свой счёт книжечки – так сразу для него всё встало на свои места. Книжечки были захудалые, а стихи замечательные. Настоящие, звенящие. Не пафосное рифмоплётство, каким страдали в лито, каким и сам баловался, теперь стыдно вспомнить, как о подростковом грешке. Нет, они были нездешние, совершенно другой высоты. Как он ревновал тогда! Как злился! Но откуда было ему взять такие слова? – не хватало ни начитанности, ни таланта. Теперь он это видел – тогда только догадывался. Завидовал. И вот, оказалось, хранил их в себе всё это время, так что и сейчас, от одного воспоминания, стихи ожили в голове и зазвучали.

«А ведь мы, выходит, ровесники», – подумалось вдруг. Возраст Алёше не шёл, он выглядел как мальчик. Вечный с тех пор будет мальчик. Теперь, когда вспомнились его стихи, знакомство осветилось иным светом – будто столкнулся с чем-то настоящим, ценным, и больше не было досады, не было недоумения. Теперь казалось, что у них много общего, и много есть, о чём поговорить, и будет лист по осени кружить, и приходить, чай гонять, читать, друг друга на рожденья приглашать, вернуться, и продолжить дальше жить, а, проще говоря, уже дружить, и спорить, и друг друга убеждать... читать, глотать... нет... и спорить, и друг друга убеждать, и соглашаться, чтобы признавать...

Что? Зачем? А, не важно, улыбнулся фонарю, включившемуся в конце улицы 40 лет Победы, и свернул в свой одноэтажный Нагорный. Под ногами зачавкала привычная грязь – центральная Россия, чернозём, – на углу светился унылый круглосуточный ларёк. Рома знал это всё так, что уже не замечал и не видел.

Не отдавая себе отчёта, он шёл и думал стихами.

Глава 3

Итильск назывался городом. Причём стал он им не при Советах, а раньше: жив был и Кривошеин со своим заводом, и Итиль была в других берегах, и рыбы в ней было столько, что она пешком на берег выходила, в избу шла и на стол ложилась. Это ами так говорила, это не Рома остроумный такой.

Так вот, Итильск. Возможно, в царское время он и был городом: два завода, пять тысяч населения, все дела. Но смех в том, что с тех пор ничего не изменилось, даже население приросло только на тысячу. Разве что завод остался один – не завод даже, а шоколадная фабрика, самая старая в регионе, дореволюционная ещё. Кому бы в советское время пришло в голову в здешней глуши шоколад делать? Одних затрат на доставку сырья и транспортировку продукции не оберёшься. Но фабрику поставили заранее, она до сих пор исправно работала, и Итильск был со своим шоколадом. Хотя на город больше не был похож. Деревня деревней, только большая. И застройка в основном – частный сектор. Сверху было видно, как домики расползаются вширь и вдаль, спускаются с холма Нагорного, разливаются к центру – в направлении Главного проспекта. За заборами вокруг домиков тихо облетали жёлтые сады, на перекрёстках качали головами грустные берёзы. Небо было свинцовым, оно ложилось на холмы, ложилось на город, укрывало тёплым одеялом Итиль. От его серого, как волчья шерсть, цвета ярче и цветастее смотрелись красные крыши домиков, белые кирпичные стены и заборы, которые до сих пор во всём городе красили в традиционные итилитские цвета – голубой и оранжевый, хоть никто и не задумывался, почему так.

По холму гулял ветер, пасторальный вид заливало осенней тревогой и красотой. Пахло Итилью. В смысле, большой рекой и немного рыбой. Впрочем, в Итильске отовсюду пахло Итилью. Наверное, с тех пор, как Кривошеинов завод рухнул, здесь больше ничем не пахло.

Рома пригнулся, закрыл над головой окно и спрыгнул со стрёмянки. Гул прокатился по чердаку, поднялась пыль. Стремянку складывать не стал, двинулся дальше. Чердак в ДК был гигантский, во всё здание, и использовался по назначению – то есть как склад ненужных вещей. Впрочем, так как здание было новое, ненужных вещей в нём водилось не так много, и при желании здесь ещё можно было что-то найти. На что Рома и надеялся.

Шёл и вглядывался в полумрак под скатом крыши, следя за ощерившимися гвоздями стропилами. Окна в крыше были маленькие и пробиты нечасто. Но и их хватало, чтобы на чердак каким-то образом забирались разные твари: Рома насчитал десяток трупиков птиц, засохших тут с зимы, и осиное гнездо. Ладно, осы, но птиц жалко. Залезали греться и вылезти уже не могли. Жалкая смерть. Рома решил, что зимой будет подниматься сюда регулярно, вдруг спасёт кого.

Тут мироздание ему улыбнулось: он нашёл что искал. Большой рулон чистых ватманов, привезённых из старого здания, и короб с мягким реквизитом, а именно сугробы и снеговика из ваты, они стояли в глубине, у самой стены. Ведь хватило кому-то мозга затащить их сюда. Остальное-то сложили в подвале. Правда, говорят, когда переезжали, было ещё неясно, насколько сух новый подвал и можно ли там что-то хранить. Это Кочерыга так говорит, Ромато переезд не застал, он тогда был далеко от этого богом спасаемого места.

Так, ватманы тёте Свете, она просила, а короб в реквизиторскую. Или в подвал. Ничего снеговикам не сделается, это теперь ясно, в подвале уже целый лось стоит, глядит с недоумением, но не гниёт. И снеговика тоже, значит, не растают.

Рассуждая так, он вывалился с чердака в свет и гулкость дворцовых коридоров. Всё-таки там, наверху, как и положено, другой мир, и дышится иначе. Будто из-под воды поднялся: и звуки другие, и на свет шуришься. Чудо-юдо царь речной. Обликом с человеком схож, только кожа у него холодная, как у рыбы, и следы оставляет мокрые. Причём чем ближе к воде, тем они

мокрее, так его и узнавали. Это уже не бабушка, это Рома в тетрадке Сергея Соколова прочёл. В его деревне ни про каких речных царей не слыхали, к ним никто, кроме рыбы, на берег не выползал. Хотя это было записано всего в двадцати километрах, в такой же вывезенной из зоны затопления деревне. Но это нормально, итилиты такие, они не только с чужаками, они и со своими особо не разговаривали. Больно надо. Этим ещё и гордились.

Тетрадка оказалась любопытная. Итилитской дурью и рыбьей спесью несло от неё за версту. Роме не терпелось уже вернуться в рубку и дочитать, но со стороны казалось, что он ничего не делает, поэтому все, кто только мог, придумывали ему дела. А ведь он не виноват, что сегодня у артистов свободный день, ни репетиций, ни прогонов. Тёмыч вообще пришёл к обеду, а он только сядет с тетрадкой, так сразу кто-то бежит в рубку, тербит его, что-то требует.

Нет, в рубку возвращаться не надо. Отнести находки – и в подвал. Там никто не тронет. Разве что лось.

С коробом под правой рукой и ватманами под левой, боком влезая в дверные проёмы и лавируя на поворотах, чтобы ни с кем не столкнуться, он дошёл до лаборатории. Так и было написано: «Лаборатория по общественной деятельности», будто они там правда опыты ставили. На самом деле – секретарский отдел как он есть. На столах кучи бумаг, за ними мелькают головы тёти Светы и Валечки. Валечки реже, она то на отчётах, то на заседаниях.

– Нашёл? – обрадованно ахнула тётя Света, когда Рома ввалился в кабинет спиной, как какой-нибудь Громозека. – Вот молодец! Давай, давай сюда. А то сезонку рисовать не на чём.

Она подскочила, подхватывая у Ромы рулон и заботливо ставя его в угол.

– Сезонку?

– Сезонный отчёт. Есть годовой, а есть сезонный. Сколько за прошедший квартал человек охвачено нашей деятельностью на мероприятиях.

– Ну и сколько их, окультуренные и увеселённые?

– Шесть тысяч!

– А остальные-то прозябают. Непорядок. Надо быть бодрее, массовее, веселее. Покажите отчёт Саму, пусть напишет разнарядку на увеличение общественной деятельности.

Тётя Света смотрела на него в недоумении.

– Да я шучу, шучу. – Рома рассмеялся, чтобы снять напряжение. Тётя Света была простая, но добрая, троллить её не хотелось.

– Ой, ну всегда ты!.. – Она замахала на него руками. – Чаю будешь?

– Нет, я в реквизиторскую. У меня ещё снеговики неприбранные, растают.

– Ну, хоть конфеточку на вот, потом сам того, с чаем.

Она стала засовывать ему в карман конфетку, ту самую «Му-му», а другой рукой пыталась придерживать дверь, чтобы Рома в неё вписался с коробкой на пузе. В этот момент по коридору пронёсся громовой голос, а вслед за ним и сама Стеша, как ледокол, внесла их обратно в кабинет.

– Судьбин! – обрадованно рокотала она. – Судьбин! А ты почему не на рабочем месте?

– Я на рабочем, Степанида Борисовна. У меня весь ДК – рабочее место.

– Вот оно как? А Сан Саныч как раз в зале. Кран обзревает.

– Какой кран?

– Какой-какой? Операторский. Который ты изволил обвинить в простаивании. В смысле, обвинить ДК в простаивании казённого оборудования. Вот, теперь думаем, как его использовать. Хотим на нём Итильвана в пьесе спускать. Как думаешь, эффектно же будет: Итильван спускается из-под облаков и говорит свой монолог. А? Каково? Сразу на областной уровень!

Она стояла гордая, выставив вперёд грудь и живот, всем видом давая понять, что эта светлая мысль принадлежит ей. Рома чуть не выругался.

– Это про пьесу, про пьесу, Судьбин, – сказала Стеша благосклонно, принимая его растерянный вид за онемение от её гениальности. – ЛИС будет ставить, ну, клуб любителей. Ты ещё ознакомиться не успел? Я же тебе говорила. В пятницу, кстати, репетиция, ты помнишь?

– Я даже не знал, чтобы помнить, Степанида...

– В пятницу, в помещении музея. Так что будь добр. Сценарий дадут, познакомишься. Ну, сюжет там простой, классический. Про Итильвана что-то там, разберёшься. Тебе отдельное задание – отработать спуск, понял.

– В смысле – отработать?

– В прямом, Судьбин, в прямом: ты у нас Итильваном будешь! – ещё более радостно постановила Стеша и даже похлопала Рому по плечу. Он чуть не выронил коробки.

– Да вы что? Это же...

– Ну, Судьбин, давай вот без этого, без этих ваших заморочек, пожалуйста. Это спектакль, ничего больше. Пролетишь над залом, спустишься... Это всё, всего лишь эпизод, дальше там есть, кому роль играть, уже назначили.

– Да дело не в этом, Степанида Бо... Кран же не рассчитан. Я говорил про реквизит. Речь о человеке не шла!

– Ну, это Сам Самыч разберётся. Уже разбирается. Спецификация – это его. Скажет, что можно – так и человек полетит. Это не нашего ума дело. А, ещё! – вспомнила она вдруг и прямо засветилась. – Ты же завтра в область едешь!

– Куда? – изумился Рома.

– Не куда, а когда. В двенадцать машина. С «Итилитскими зорями», им техник нужен. Это недалеко, Ведянино, семьдесят километров.

– Так пусть Тёмыч, в смысле, Тимофеев...

– Он остаётся, – безапелляционно отрезала Стеша. – Завтра репетиции, кому вести? И ещё они звонили, просили диджея. У них заболел. А им надо, праздник там села.

– Степанида Борисовна, да вы что! – Рома уже серьёзно возмутился. Вести деревенскую дискотеку ему не улыбалось ни капли. – Это же до ночи вообще!

– Назад тебя заберут. Не переживай, водитель вернётся, всё увезёте.

– Степанида Борисовна, но это же просто...

– Я не поняла, Судьбин! – Она сделала большие глаза. – Это что такое? Я тебе шабашку нашла, люди деньги платят, живые. Тебе, тебе, заметь, не ДК. Благодарить должен. Всё, ничего не хочу слышать. Завтра, в двенадцать, машина от крыльца. Ты куда шёл?

– В реквизиторскую, – буркнул Рома.

– Вот и шуруй.

Рома её уже не слушал. Он протаранил коробкой дверь и двинул по коридору. Он был злой. Шагала, вышагивая собственную ярость. Особенно острую от бессилия. Особенно острую от зависимости. Он ненавидел зависимость, он всегда пытался её избегать, жить для себя, ни к кому и ни к чему не привязываясь – и всегда вляпывался в неё, как в коровью лепёху на дороге – бамц! И потом отмывайся. Зависимость – это беспомощность. Но неужели и сейчас он беспомощен? Неужели не может послать всё это: и Стешу, и ДК, и вообще всё – и уехать куда-нибудь? Да пожалуйста, да в любой момент!

В таком состоянии он вломился в подсобку за сценой – и налетел на знатное собрание. У стола сидели: техник Петрович, тот самый, который рассказывал про физиологическое неприятие секса после тридцати; сторож Капустин, просто тот самый; а главное – господин Подавайкин, он же Помогайкин, он же Подслушайкин и так далее, а настоящую фамилию его Рома если и знал, то не помнил. Звали Семён Василич. Работал этот товарищ, вообще-то, наверху, в конторе, но ошивался у технарей, как будто тосковал по упущенному призванию – ломать и чинить, фигачить и рушить. Впрочем, главное дело жизни он не упускал – был он стукачом, и стукачом знатным. Он даже выглядел как классический советский стукач, по крайней мере,

Рома именно так их себе представлял и был удивлён в своё время, попав в ДК, что типаж этот не вывелся, а процветает: маленький, кругленький, лысенький, не человек, а скользкий обмылок. Семён Василич и говорил прозрачным, невнятным голоском. Никакашечным, как дед сказал бы.

У Ромы даже что-то в голове щёлкнуло, как увидел его: вот с кого начались все проблемы: и кран этот, и всё. Он так и застыл в дверях, вцепившись глазами в Семён Василича, а тот сидел как ни в чём не бывало и улыбался ему прозрачной улыбочкой.

– А, Ром-мыч! Чалься! – прогремел Петрович, однако услужливо подвинулся вместе с табуреткой именно Помогайкин. Рому передёрнуло, он отвёл глаза.

– Господа трапезничать изволят?

Он прошёл в дальний угол, где была дверь в кладовку, гордо именовавшуюся реквизиторской, открыл, и, не глядя, зафутболил коробку со снеговиками в пыльную темноту. К столу вернулся, уже немного успокоившись, как будто избавился не только от коробки, но и от своей злости.

Пахло едой и какой-то кислятиной. На столе всё было прилично – чай, бутеры, пластиковые контейнеры с остатками картошки и котлет перед Петровичем, грустно сморщенный одинокий солёный помидор перед таким же грустно сморщенным Капустиным.

– Ты чего такой тухлый, Кочерыга? – Рома туркнул его в плечо. – Дежуришь сегодня?

– Отбываю, – буркнул тот. Взгляд у него был какой-то буддистский, так что Рома догадался, что одним чаем здесь не обходится.

– П-пылеснуть? – приветливо спросил Петрович, догадавшись, в свою очередь, о его догадке, и кивнул под стол.

– Не, спасибо. И вы тут того, аккуратней. Сокол реет. – Он кивнул вверх.

– А мы что? Мы ничего. Чайку? – подал голос Подстрекалкин. Рому опять передёрнуло.

– Нет. Я пойду.

– Да к-куда – пойду, чего – п-пыйду сразу? – вступил гостеприимный Петрович. – А ну, к... к... колись, ты чего кислый-то?

– Я не кислый. Я подквашенный, – сказал Рома.

– Это с п-пятницы ещё, что ли? С-сылыхали. – И Петрович заржал, ухая всем своим организмом. Подлизайкин мелко, но беззвучно затрясся вместе с ним, и Рома еле сдержался, чтобы не дать ему по башке, как китайскому балванчику – вот уж кто-кто, а Семён-то Василич знал, что в пятницу Рома был трезв, как стёклышко.

– Нормальное дело, – выдал вдруг Капустин, как будто включился неработавший радио-приёмник, совершенно не в кассу. – Нормальное.

– Нормальное, – кивнул Рома, вдруг решительно садясь и в упор глядя на Подслухайкина, – совершенно нормальное. Если бы не кран.

– Что за кран? – спросил Петрович, закладывая в рот катлету.

– Простой. Операторский. В зале который, – говорил Рома, не сводя глаз с Подглядайкина. Тот лыбился, будто не понимал, что к чему. – Начальству он вдруг очень нужен стал. Висел себе, висел два года...

– Так и чего? – жуя, продолжал Петрович.

– Ничего. От меня теперь хотят, чтобы он как-то заработал. В смысле, чтобы его как-то использовали. Кран. – Рома помолчал, буравя Подслухайкина глазами. Тот продолжал улыбаться. – Вот и думаю я: кто им эту светлую мысль подсказал? – припечатал Рома.

– Да кто бы? А что бы не сами... – начал было Петрович, но его неожиданно перебил Поддавайкин:

– А матушка-то ваша как? – брякнул он. Рома опешил.

– А тебе что?

– Так. Интересно. Как она? Пишет? Нет ли тоски по родным, так сказать, берёзам?

– Не понял. – Рома действительно его не понимал: почему вдруг Подстрекайкин так резко переключил тему и к чему он клонит.

– Ну как же. Сы́ночка-то не выдержал, вернулся. Может, ностальгия или как там?

– Ты вообще о чём? – прямо спросил Рома.

– Ну как же, – повторил Семён Василич. – Семья – святое дело. А то ты тут, она там. Нехорошо получается.

– Где – там? – Рома чувствовал, что тупит. Он прямо слышал, как прокручиваются в голове вхолостую какие-то шестерёнки.

– В Соединённых Штатах Америки, я так полагаю, – спокойно ответил Подстрекайкин и хлебнул чаю.

И шестерёнки щёлкнули, сцепились одна с другой – Рома всё понял. По приезде Семён Василич постоянно расспрашивал его про Штаты, как там и что. Он Роме сразу был несимпатичен, да и вообще рассказывать о прошлой жизни не собирался, поэтому отвечал всегда мало и невнятно. Но Подлизайкин не отставал. И про мать решил, что она там. Но до Ромы только сейчас дошло, что Подбивайкин видел в нём, так сказать, инородный элемент – засланца или вроде того. А это значит, что все его происки – неспроста.

– Сдались они тебе, эти Штаты, – выдавил глухо. – Как кость в горле, да?

– Уже и спросить нельзя. – Семён Василич сделал вид, что обиделся.

Рома ничего не ответил. По-хорошему, и не стоило бы ничего отвечать. Встать бы и уйти сейчас, и пусть остаётся Семён Василич со своим образом врага. Но он нарочито размеренно, будто обдумывал, что бы сказать, взял из-под хари Капустина помидор, сунул его в рот, обжевал, чуя, как остро-солёная мякоть ударила в нос, вытянул красную тряпочку шкурки, кинул на пакет с очистками колбасы и так же медленно стал жевать. Капустин посмотрел одобрительно, хотя и с прежней буддистской невозмутимостью.

– Ты вот всё – Штаты, Штаты, – начал Рома. – Штаты – то, Штаты – сё. Штаты хотят нас всех нагнуть. А я тебе скажу, что дела там никому до нас нету. Особенно когда всё хорошо и никто ядерной дубинкой не машет, там и думать не думают о тебе, родной Семён Василич. И уж точно трогать лишний раз не хотят, ещё испачкаешься.

– Боятся – з... з... значит, уважают, – пробурчал Петрович.

– Да не боятся. Просто. Хлопот ведь с нами не оберёшься. Там всё хорошо. А ты знаешь, Семён Василич, как это, когда у людей всё хорошо? Это когда человек о политике не думает. Вообще. Это когда жизнь в стране настолько налажена, что о политике можно не думать. Как хороший механизм – он работает, и ты его не замечаешь. Живёшь своей жизнью. В кино ходишь, на выставки. Книжки читаешь. Это у нас тут всего и разговоров – или о бабах, или о политике. А чем всё хуже, так только о политике. У кого чего болит. Понятно?

– Ну, о б-бабах – это всегда п-пожалуйста, – дружелюбно ухмыльнулся Петрович. – Если есть ж... ж... желание, можно и о бабах. – Он извлёк откуда-то чистую кружку, соорудил чай и подвинул Роме. Тот уставился на плавающий в белой пене разбухающий на глазах пакетик.

– Выходит, у нас всё плохо? – елейным тоном поинтересовался Подстрекайкин. – Ну, по вашему мнению.

– А что хорошего? – спросил Рома, жуя бутерброд с куском варёной колбасы. – Тебе самому нравится?

– Меня, если это интересно, всё устраивает. – Он даже приосанился, будто произносил эти слова на камеру. – Жизнь налаживается, власть в сильных руках, мы готовы дать отпор любому, и нас все в мире стали бояться. – У него даже глаза заблестели. Видно было, что человек накаляется, причём это уже искренне. Рома понимал, что не стоит ничего ему отвечать, но как будто некий чёрт толкал под локоть:

– Конечно, для таких, как ты, всё и делается, – сказал он. – И имперские амбиции, и сильная рука. И образ врага – всё, как вы любите.

– Так ты считаешь, ты считаешь... – начал было Семён Василич с дрожью в голосе, но у Ромы вдруг сработали тормоза – он ясно почувствовал, что на этом хватит, потому что вот сейчас начнётся разговор бессмысленный и беспощадный.

– Я вообще ничего не считаю, – сказал и поднялся. – Спасибо за чай, – кивнул Петровичу.

– А и п-пожалуйста, мы сами выпьем, – добродушно кивнул Петрович, подвигая нетронутую чашку. Счастливый человек – он умел делать вид, что ничего никогда не происходит.

– Ты там своим передай, что мы всё про них знаем! – успел крикнуть в спину Подбивайкин, когда Рома уже закрыл дверь.

Вот ведь параноик, думал, быстро спускаясь по лестнице в подвал. И прицепился, как клещ. Ну и ладно. Зато теперь никаких сомнений, как Стеша и Сам узнали про кран. Кочерыга – просто старый дурак, хоть и услышит, так не поймёт, а скажет, так без задней мысли. Его никто и слушать не будет. А с этим всё теперь понятно, всё...

Возвращаться в операторскую не хотелось. В операторской Тёмыч, а это значит, дурацкие разговоры и подколки. А Рома чувствовал, что устал. И он хотел почитать тетрадку. Значит, оставался подвал как последнее прибежище. Или как бомбоубежище – всё равно подвал.

Рома открыл дверь, щёлкнул выключателем. С тихим звоном стали загораться лампы дневного света, и всё огромное помещение озарилось. Это не шутка, про бомбоубежище: подвал и правда строили в расчёте на авиаудар. Рома это сразу понял, как только сюда в первый раз спустился. Это было странно, учитывая, что здание совсем новое, он думал, что такие штуки планировали только в советское время, но нет, тяжёлая бронированная дверь надёжно отделяла подземелье: свой туалет, душ, вентиляция с системой очистки воздуха, а главное – даже свои резервуары под воду, Рома нашёл их, в дальней комнате. Там же были не разобранные, в коробках, военные пакеты – сумки с противогазами, аптечки первой помощи, консервы и сухпайки. Целые стеллажи.

Рома, когда нашёл это всё, прямо обалдел. В голове не укладывалось, кто бы захотел напасть на заштатный Итильск, где единственное производство – шоколадная фабрика, не считая восьми зон строгого режима в окрестных лесах. Всё милитаристское было Роме генетически чуждо: итилиты испокон веков не воевали, рекрутчины и военных призывов избегали, как умели, и из-за этого у них были проблемы. Всегда. Но это им было не важно, главное – принцип, а его соблюдали свято. С врагами разбирались по-другому: снимались и уходили – кто их на заливных островах найдёт?

Однако сейчас подвалом не пользовались, разве что под склад. Рома даже не был уверен, что все обитатели ДК в курсе его существования (а уж тем более его предназначения). Хотя зря не пользовались, он считал. Места много, любые кружки проводи, стены толстые, ни хор, ни музыка мешать не будут. Есть душевые, он сам ими пользовался несколько раз, когда дома были проблемы с водой, для хореографии какой-нибудь или там таэквондо – самое оно. Сейчас они наверху занимаются, в раздевалках дух стоит, как в хлеву, при том что секции детские. А подвал простаивал, в нём только складировали уличные скамейки – такая маленькая слабость у завхоза, где в городе какую ненужную скамейку снимали, он тащил сюда. У него их уже штук пятнадцать скопилось, а зачем, никто не знал – для коллекции.

Да вот ещё стоял тут лось. Точнее, лосиха.

– Здравствуй, Звёздочка. Как ты? – Рома погладил жёсткую морду, потрепал между ушами. – Ничего-то у меня для тебя нет, прости.

Звёздочка смотрела на него всепрощающими, как у коровы, глазами. Она ему и напоминала корову своим многотерпием. Впрочем, какое уж многотерпие у покойника. А вот почему лосиха ассоциировалась с коровой, он понимал: сколько итилитских сказок, где маленьких детей выкармливали лосихи, или где они спасали детей от злой Йомы, или вот про Лики-бну, дочку лесовухи, которую в деревню замуж взяли, и она хорошей была хозяйкой, всё у неё было,

только стали замечать, что уходит в лес, а возвращается с молоком. Думали, что доит она чужих коров, итилиты же в лесах пасли. Проследили за ней, а она, оказывается, глубоко в лес уходит, на пень садится, начинает петь, и к ней приходят лосихи с лосятами. Она их доит, хлебом кормит и с молоком идёт домой. Так и поняли, что она Лики-она, а не человек. Ну а что дальше было, дети, вам знать не положено.

Да и эта лосиха стала Звёздочкой, потому что бабушка так всех своих коров звала, вне зависимости, есть белое пятно на лбу или нет. Звёздочка – и всё.

– Я с тобой посижу? – говорил Рома, отпирая дверь в серверную, как раз напротив лосихи. – Не возражаешь? Достали меня все сегодня, хоть у тебя спрятаться. А я тебе вслух почитаю.

Звёздочка не возражала. Она вообще никогда Роме не прекословила, что, конечно, было ожидаемо, но Рома привык с ней говорить: невозможно же молчать, когда на тебя пристально смотрят, пусть и неживыми, глазами.

В серверной всегда тепло и по-своему уютно. Неумолчный гул множества железных коробок, мигание лампочек, торчащие провода – всё это напоминало космический корабль. Но главное, здесь его уж точно не найдут. Даже если кто спустится в подвал, искать в серверной не станут. Здесь стояло старое кресло, Рома давно облюбовал это место.

Он открыл дверь, чтобы видеть Звёздочку, опустился в кресло и наконец достал из сумки тетрадь. Алёшин батюшка был человеком аккуратным. Тетрадь велась на два почерка. Один, округлый, совершенно доступный – им записывался основной текст: легенды, сказки, всё, что ему доставалось. Второй, почти скоропись, с сокращениями, очень мелкий, меж строк, на полях – заметки, идеи, мысли, проскользнувшие словечки, а также информация о людях, рассказавших тот или иной сюжет. Для Ромы это было самое любопытное. В тетради было отмечено всего шесть деревень, Рома сверился с картой области – все вывезенки. Казалось, Алёшин батюшка кругами приближался к их деревне, но так до неё и не добрался, осел в нескольких километрах выше по течению. И вот там ему достался настоящих клад – некто Горев Егор Иванович.

Своих Рома безошибочно определял по фамилии. Давно обрусевшие, родные имена уже забывшие, итилиты отличались фамилиями, образованными от всяких горестей и ужасов. У них, к примеру, полдеревни были Судьбины, полдеревни – Бедовы. В этой вот – Горевы и Страховы. Дядя Саша Умрищев занимал достойное место в итилитской семье. Почему так вышло, можно было только гадать. Ати говорил: имя едко, а сам молодец. Вроде бы наперекор. А ещё говорили, что раньше итилиты специально брали такие слова для имён, чтобы русские к ним не совались. Вроде как ты туда не ходи, там Бедовы да Страховы живут. Но плохое имя не только человека, оно кого хочешь отпугнёт.

Деревенскую речь Алёшин батюшка умел передать хорошо. Рома открывал тетрадь, и в голове включался репродуктор. Причём передавал он не только речь и звуки деревни – квохтанье кур под окном, взмыкивание идущих вечером с выпаса бесчисленных поколений звёздочек, не только громыханье противня в бабушкиных руках и бормотание радио у окошка, но и запах сена, молока, дедова табака, а главное – дома, где Рома вырос и где каждая комната, и сени, и двор пахли по-своему. И ещё как живого видел ати. Всё это вполне мог рассказать он, с прищуром, с хрипотцой, с неизменными смешинками.

Однако Рому сейчас интересовали не былички про лесовух и злую Йому. В середине тетради он нашёл тексты совершенно другого стиля, аккуратно переписанные с какого-то источника с ерами и ятями. Что это были за тексты, Рома с ходу не понял, поэтому и стремился так страстно сесть в тишине и спокойно прочитать.

«На Рождество въ церкви не идутъ, а спускаются къ рѣкѣ, дѣлаютъ проруби и льютъ въ воду молоко и мѣдъ, говоря при этомъ, что кормятъ мать, какъ она ихъ круглый годъ кормитъ. На Масленицу наряжаютъ свиней въ человѣческое платьѣ и съ криками гонятъ по

деревни, послѣ чего выгоняютъ въ лѣсъ, считая, что выгоняютъ всѣ грѣхи, накопленныя за годъ. Когда же по рѣкѣ готовъ пойти лёдъ, ночами не спятъ, выходятъ всѣ на берегъ и жгутъ костры круглыя сутки, женичины поютъ меланхоличныя пѣсни и расплетаютъ себѣ косы, какъ дѣлаютъ, если у кого-то изъ ихъ подругъ трудно проходятъ роды, мужчины же ходятъ у воды съ батогами и съ грознымъ видомъ потрясаютъ ими въ воздухъ, время отъ времени обрушивая на лёдъ, будто зашибаютъ кого. Когда же лёдъ наконецъ пойдётъ, скидываютъ съ себя одежду, устраиваютъ пляски вокругъ огней, радуются и поздравляютъ другъ друга, говоря «ве чекень», что значитъ, вода народилась. День же этотъ, начало ледохода, по одному ему извѣстнымъ приметамъ определяетъ и объявляетъ имъ тотъ же человѣкъ, Итильванъ. Онъ же сообщаетъ о началѣ всѣхъ другихъ праздниковъ, и безъ него вообще не дѣлается въ селѣ никакое дѣло...»

Здесь запись обрывалась. Рома перелистнул страницу, где было её начало: оказалось, это записка в Святейший синод:

«Въ связи съ дѣломъ по донесенію о появленіи въ земляхъ заводчика Кривошеина новой секты, именующей себя итилиты, кои отъ воинской службы отказываются, налоговъ не платятъ и при всякомъ появленіи военного или полицейскаго уходятъ въ лѣсъ, послѣ всесторонняго разсмотрѣнія сего дѣла сообщить имѣю слѣдующее. Вышеназванныя населяютъ берега вверхъ по теченію. Себя именуютъ итилитами, реку не иначе какъ Итилью, считаютъ себя исконнымъ населеніемъ этихъ земель и говорятъ на своёмъ языкѣ, коій требуетъ еще изученія, однако по-русски разумеютъ. Живутъ онѣ въ лѣсахъ, ловятъ рыбу и промышляютъ охотой, держатъ скотъ. По вѣрѣ же язычники, церквей не имѣютъ, а совершаютъ свои поганья обряды, о чѣмъ рѣчь пойдётъ далѣе, для чего зимой и лѣтомъ удаляются на острова. Бога не признаютъ, а молятся рѣкѣ и лѣсу, а всего больше почитаютъ своего старосту, котораго называютъ Итильваномъ и почитаютъ за сына рѣки. Онъ у нихъ и царь, и богъ, что же касается власти государственной, то на прямой вопросъ, признаютъ ли російскаго царя, отвѣта получено не было».

Далее шёл тот самый кусок, который Рома уже прочитал, стояла подпись доносителя и дата – 6 ноября 1853 г. Ниже шли даты и цифры рекрутских наборов при учётном населении по сѣлам. Возле итилитских стояли вопросы и прочерки – видимо, посчитать население не удавалось, а от набора итилиты уклонялись. После чего туда посылались полицейские. Удивительно, что никому из них не пришло в голову узнать об отношении итилитов к военной службе как таковой, все они сосредотачивались на фигуре Итильвана, в которой видели причину бед.

«...Этотъ человѣкъ имѣетъ колоссальную власть надъ дикими крестьянами, – жаловался слѣдующій доноситель. – Онъ говоритъ имъ, что дѣлать, и онѣ безпрекословно слушаются его. Общеніе съ ними усложнено еще темъ, что говорятъ они на языкѣ, звучащемъ абсолютною тарабарициной, хоть и слышатся въ нёмъ слова мордовскія, татарскія, а иногда и русскія, но всё же ничего общаго съ этими языками нѣтъ. Никто изъ живущихъ бокъ о бокъ съ ними ихъ не разумѣетъ, тогда какъ они хорошо понимаютъ и легко переходятъ на любой изъ названныхъ языковъ. Говоритъ съ ними, такимъ образомъ, не представляется возможнымъ: по своей недалекости и кротости они не перечатъ, но въ одинъ день снимаются съ мѣстъ и уходятъ, такъ что, придя однажды, можно застать всю деревню пустой, а хозяйство брошеннымъ. Земли же свои они знаютъ хорошо, такъ что пущенная слѣдомъ погоня скоро теряется, а такъ какъ каждая семья имѣетъ свои заимки въ лѣсахъ и на островахъ, могутъ жить такъ сколь угодно долго, не возвращаясь въ сѣла...»

Этотъ же Итильванъ – фигура мифовъ ихъ и сказокъ. Его же почитаютъ они своего рода мессией, съ нимъ связываютъ свое благополучіе, ему приписываютъ много чудеснаго, отъ лѣченія больныхъ людей и животныхъ и до божественнаго прозрѣнія. Человѣкъ, называемый такъ, живетъ среди нихъ не всегда. Но если же появляется тотъ, кто назовется этимъ

именемъ или кого они сами таковымъ посчитаютъ по однимъ имъ извѣстнымъ признакамъ, то итилиты впадаютъ въ родъ безумія, совершенно предають себя его власти. Старожилы изъ русскихъ сѣлъ, сосѣднихъ съ этими, говорятъ, что ни о какомъ Итильванѣ не слышали еще пятнадцать лѣтъ назадъ. На вопросъ, откуда онъ, всѣ, даже русскіе, отвѣчаютъ, что приплылъ по рѣкѣ, потому что онъ-де сынъ Итили.

Человѣкъ, котораго они именуютъ такъ нынѣ, — мужчина лѣтъ сорока, ростомъ высокъ, волосомъ русъ, и борода руса, какъ у всѣхъ итилитов. Живетъ онъ на краю сѣла въ бѣдной избѣ и своего хозяйства не имѣетъ, работой не занятъ. Но онъ и не имѣетъ на это времени, потому что главная его забота — это лѣчение и еще болѣе успокоеніе приходящихъ къ нему крестьянъ. Они же снабжаютъ его всѣмъ необходимымъ, такъ что ни въ чѣмъ онъ не нуждается. При своихъ лѣтахъ онъ недавно впервые женился и сейчасъ имѣетъ дочь-младенца, и жена его на сносяхъ. Поговорить съ нимъ намъ не удалось, потому что люди стоятъ къ нему въ очередности и пускаютъ развѣ что тѣхъ, кто сильно мучается болью или при смерти. Намъ довелось видѣть, какъ принесенный къ нему отрокъ лѣтъ четырнадцати, до того упавшій съ лодки и бывший безъ памяти, такъ что многіе сочли его утопшимъ, очнулся и всталъ послѣ наложенія рукъ и поцѣлуя въ уста. Въ другомъ случаѣ названный Итильванъ излѣчилъ молодуху, находящуюся въ родовой мукѣ, такъ что она тутъ же родила здороваго младенца, кой и былъ показанъ собравшейся толпѣ. Однако не всѣ лѣченія кончаются хорошо, и иногда онъ признаетъ самъ, что ничего не можетъ сдѣлать, предавая больного его судьбѣ. Но и въ этихъ случаяхъ больные уходятъ отъ него успокоенные. Думается, что разговорами своими названный Итильванъ снимаетъ съ нихъ смертную тоску, отчего они пребываютъ впредь въ добромъ расположеніи духа и ужъ не тяготятся своимъ участіемъ.

Стоитъ ли говорить, что всѣ названные нами примѣры чудесъ, сотворяемыхъ Итильваномъ, приводятъ толпу, постоянно окружающую его домъ, въ неистовство...

В этомъ месте текст неожиданно обрывается — ни даты, ни подписи. Сразу за нимъ шёл другой:

«Озабоченный всё растущимъ вліяніемъ самозванца пророка въ средѣ необразованныхъ крестьянъ ... уѣзда, священникъ ... прихода, отецъ Н-й произвелъ слѣдующее, съ нашей точки зрѣнія, хорошо просчитанное дѣло. Узнавъ, что самозванецъ считается родомъ изъ деревни Неврюги, онъ поѣхалъ выше по теченію, гдѣ находится русское сѣло Стропинино, и нашелъ тамъ старуху-крестьянку нужныхъ годовъ, Пелагею Ст-ву, вдову. Будучи склонной до винопитія, она за вознагражденіе согласилась показать прилюдно, что въ молодости снесла своего новорожденного дѣтя, прижитаго во грѣхѣ, въ рѣку, о чѣмъ священникъ зналъ изъ исповедальныхъ списковъ. Будучи внушаемой и узнавъ о сути дѣла, она сама увѣрилась, что живущій въ Неврюгино человекъ, именуемый Итильваномъ, и есть её чудомъ спасшійся сынъ. Такъ что когда доставили ея на мѣсто, Пелагеей былъ разыгранъ своего рода спектакль, въ искренности котораго не могъ бы сомневаться никто изъ присутствующихъ.

Какъ и рассчитывалъ отецъ Н-й, появленіе матери даннаго человѣка должно было вызвать смятеніе и сомнѣніе въ умахъ прихожанъ, что и случилось тутъ же. Однако названный Итильванъ, понимая, по всей видимости, весь рискъ своего положенія, сѣлъ подлѣ Ст-вой и, взявъ ея за руки, разговаривалъ съ ней тихо и кротко. Хоть говорилъ онъ по-русски, что именно было имъ сказано, слышать мы не могли. Однако не прошедъ и десяти минутъ, слезы брызнули изъ глазъ старухи, сама она повалилась въ ноги проходимца и стала каяться въ обманѣ, называя его батюшкой и избавителемъ. Послѣ чего примкнула къ ряду тѣхъ, кто почитаетъ его, и утверждаетъ также, что съ прикосновеніемъ его избавилась отъ своей пагубной склонности къ вину. Съ отцомъ Н-мъ общаться избѣгаетъ и обличаетъ его прилюдно въ томъ, что-де подстрекалъ ея къ обману.

Такъ же и многіе русскіе, равно какъ и инородцы, однажды попавъ къ Итильвану, становятся его лютыми поклонниками, забываютъ святую церковь, въ чѣмъ видится намъ боль-

шой рискъ и опасность. Посему предлагаемъ принять всяческіе мѣры, вплоть до ареста и изоляціи самозванца...» И т. д., и т. п. Год 1859-й, июль месяц.

Рома захлопнул тетрадь и закрыл глаза, откинулся в кресле. Перебор. На сегодня явно перебор. Да и то ли это, чего он искал? Нужно ли ему всё это? И про кого – про Итильвана, про *их* Итильвана, своего, которого и ждёшь и веришь, хотя ни во что уже не веришь и ничего в этой жизни не ждёшь?

И всё-таки, всё-таки... Что-то давило и не давало покоя. Как будто главного тебе не рассказали. Осталось где-то там, за забором всех этих протокольных слов. Живое, пульсирующее, настоящее. И найти его, почувствовать, увидеть хотелось всё ещё очень. Забытое, ушедшее. Глаза первопредка. Не то рыбы, не то зверь, не то человечьи глаза. Если заплывать подальше и долго, пристально вглядываться в пустоту воды под собою, вдруг всплывёт и будет смотреть глубоководно, подслеповато, как и ты всматриваешься, еле угадывая, еле улавливая его под водой, почти путая со своим отражением.

Это как в густой туман спускаешься с яра. Не видно ни зги, одно белое молоко кругом. Лес остался наверху и сзади. Лес – простой и понятный даже в тумане: от дерева до дерева идёшь и видишь, и всё узнаёшь и понимаешь, но вот вышел на яр – и перед тобой ничего. Пустота. Одна белая-белая мгла. Осторожно спускаешься с сыпучего яра, будто погружаешься в туман всё глубже и глубже. Тихо, влажно, плещет волна о влажный песок. О влажный песок и о брюхо крутобокой дедовой лодки. Так и находишь её – по звуку. Лодки делали на века. Уходили ранней весной, ещё почти зимой, в лес, выпрашивали, высматривали, потом точили да выпаривали, огнём, ножом доставая из осины душу – крутобокую итаку. С ней жили, её завещали внукам. И Рома знал, что где-то его ждёт старая дедова лодка. Дед бережно хранил её, вот она и ждёт его, качается на волне, а стоит шагнуть – сразу отчалит и поплывёт в молоко и туман.

Без вёсел. Для этого путешествия вёсла не нужны.

Клубится туман. Что лодка движется, ясно только по тихому шёпоту струи бод бортом. Струя упругая, толкает, словно бы кто-то лодку несёт. Можно расслабиться и лечь на дно. И ни о чём не думать. Река для итилита – мать и дом. На реке не страшно. И с рекой не страшно. На реке смерти нет, ами так говорила. Смерть ждёт дома, а на реке – одно успокоение. Счастливыми считались те, кого забрала Итиль. Кто домашней смертью умер, ещё добраться до неё должен, дойти, добрести из своего залесья – страны в молоке и тумане. Волна шепчет о борт, будто кто-то баюкает, и вокруг ни зги. Не закрывая глаз, можно наяву грезить. Что-то угадывается, что-то чувствуется и слышится в бормотании, в шёпоте волны, в упругой тяге подводной струи, и можно видеть реку до дна, можно видеть небо до дна – и ничего между тем не видеть.

Вдруг садишься, будто кто-то в спину толкнул.

Туман развеяло. Распахнулось чёрно-звёздное, ясное, холодное над головой, и чёрная вода снизу сияет, а берег, гора и город на ней кажутся неживыми, вымершими.

И видно, что вода прибывает. Будто выгибает спину неведомая подводная гора, речное чудо-юдо – поднимается река, вспучивается, несётся вперёд вместе с лодкой. Растёт и нарастает над берегом стремительно, неуклонно. И Рома сверху видит его весь: вот Подгорная, вот церковь на яру, вон площадь и дома – тут и ДК, и администрация, и ряд хрущёвок, и сталинки Главной, где в коляске своей уснул Алёша... Но вдруг треснуло что-то под брюхом, глухо ухнуло – и забурлила, ринулась в город вода. Понесло лодку, только успел вцепиться в борт. Летит стремительно, аж уши заложило, а сам понимает – дамба! Дамба над городом, держит весь Подгорный от воды. Но что реке дамба? Вот ухнуло и покатилося: Подгорный вмиг скрылся, как не бывало, несёт, затопляя, река вверх, по Спасской, глотая дома, глотая улицы, вот уже и школы не стало, вот уже близко ДК, площадь – и вот нет никакой площади, нет никакого ДК. И Нагорный, и его родной Нагорный – всё ныряет под воду, всё закрывает водой. А лодка несётся, и он в неё – как на спине взбесившегося коня: и слететь страшно, и оставаться

опасно. Как замороженный вцепился в борта и летит. Вот уже глубоко внизу – все улицы, где-то там скрылась Кривошеинская проплешина и ближний лес – и вдруг остановилась вода, стихла.

Качаются вровень с лодкой верхушки сосен. Гора с лесом еле вылезла, еле спаслась.

Качается лодка. И он в ней. И тишина вокруг, опять – только тихий лепет о борта.

Осторожно, чтобы не раскачать лодку, переваливается и выглядывает.

И вдруг – чудное дело! – вдруг всё понимает. Даже не так: знает, что останется навсегда один, в этой лодке, если ничего сейчас не сделает.

Но он знает, что надо делать.

Под лавкой ати всегда держал нож – плоский, острый, лезвие старое, сточенное дугой. Рыбу вскрывать. Засунут за доски. Нашупал его, половчее взял. Руку за борт и одним движением полоснул по коже чуть выше запястья. Кровь – чёрная, густая – устремилась к воде.

Итиль закипела. Белая пошла пена, где кровь коснулась воды. А он опустил ладонь в воду, кровь свою – в воду и ночь, и сам смотрит, не может глаз отвести – вот они, вот они, проступают, поднимаются со дна, всплывают – неведомые, чудные, не то рыбы, не то звериные, не то человечьи глаза – чёрные, без белков. Глаза рода, предка, первого, чья кровь навсегда привязала их к реке...

Пальцы разомкнулись – нож канул в пустоту.

Тетрадь хлётко шлёпнулась об пол.

Рома вздрогнул всем телом и проснулся.

Тихо шуршали электронные мозги в коробках. Из коридора с пониманием поглядывала Звёздочка.

Тело затекло, а ещё больше – рука, упавшая с кресла. Рот приоткрыт. Как он не любит, когда во сне открывается рот: лицо становится жалкое, слабое, не то детское, не то стариковское. А он всегда открывается, если заснул сидя. Поправился, сел. Пожевал губами. Поднял тетрадь, глянул, где открылась: «Про ведяну», – было написано там.

– Смотри-ка, Звездуха, а завтра в Ведянино как раз. Может, по ней можно гадать? – ухмыльнулся Рома.

Закрыв тетрадь, потянулся и встал. По телу расплывалась приятная истома. Чувствовал себя бодрым, на удивление. Потушил свет в серверной, прикрыл дверь. Подошёл к чучелу, заглянул в глаза.

– Пока, лосиха. Завтра не приду, завтра нас великие ждут дела.

Слегка шлёпнул её по носу тетрадкой. Безответная Звёздочка промолчала.

Глава 4

Ведянино – село большое. Местная птицефабрика, дух которой долетал до города, если ветер менялся на северо-восточный, снабжала мясом и яйцом всю область, поэтому Ведянино держалось самостоятельно и даже с какой-то местечковой спесью, вроде как не мы от города зависим, а он от нас. Приглашая на праздники ансамбли из райцентра, сами всё оплачивали и на гонорары не скупились, поэтому ездить к ним любили, ездили часто, благо, праздников в году много. Но звукач у них был свой, и ни Тёмычу, ни Роме такой чести, как рулить концерт в Ведянино, ещё не выпадало.

Лиха беда начало.

Рома уныло пялился в окно «газельки», пока мчали по холмам мимо леска. По тем самым холмам, где он бродил раз в неделю, и мимо того самого леска, где была поляна. *Его* поляна. Погода выдалась хмурая, тяжёло набрякшая туча висела низко, но пока не разбрызгалась, берегла себя.

Село разлеглось в низинке. Домики стояли разноцветные, весёлые, подновлённые – видно, что люди живут с удовольствием. Рома знал, что когда-то это было итилитское село, отчего и название, но теперь русских тут было больше, итилиты растворились, ушли в плотную русскую почву, так что и не отличишь. Как ни странно, такова была судьба многих не перемещённых при затоплении сёл. Те, кто вывез дома, держались до сих пор, будто законсервировались, словно не переезжали никуда, а остались на дне и там продолжали прежнюю жизнь. Дед говорил, что даже улицы ставили один в один, так что все вывозенки повторяли свой подводный прототип. И ещё все они в глуши, куда не добраться. Русских там не встретишь, Дворцов культуры нет, да и школы – только младшие классы. Остальных – в интернаты. В то же Ведянино, например. Зато что-то важное там держалось – язык хотя бы, и Рома понимал, что внутренне он больше радуется судьбе дедова села, нежели большого, цветастого, крепкого Ведянино.

Дворец культуры стоял на площади в центре. Сердцем площади была клумба, летом засаженная цветами, но сейчас уже жухлая. Посередине клумбы стоял памятник воину-освободителю в шинели и с ружьём. У ног воина паслась, объедая вялые тряпочки умирающей природы, пегая коза.

«Газелька» подкатила к крыльцу, развернулась задом. Стали выгружаться.

Выезжали в район обычно народные и заслуженные – всё те же «Итиль арзянь» и «Просторы». Однако не в полном составе: примерно по половине того и другого коллектива. Пока ехали, Рома пытался прикинуть, как они намереваются выступать. Но похоже было, что ситуация их не смущала, как и вообще близкое соседство конкурентов: всю дорогу тётушки из того и другого народно-заслуженного мирно чирикали за жизнь. Как будто молчаливая война, ведущаяся в стенах ДК, этими стенами и ограничивалась.

Ведянский дом культуры был построен где-то в мутных тридцатых, о чём легко было догадаться по архитектуре – одноэтажный и вытянутый, барак бараком. Впрочем, с новым сайдинговым фасадом цвета топлёного молока. Тётушки-музыкантши, выскочив из машины, уверенно направились внутрь. Рома с баянистом Славой потащились следом, обвешанные мешками с костюмами и баяном.

Внутри ведянский Дом культуры напоминал Дом культуры Итильска, только не новый, а старый, в который Рома в школе бегал. Стены здесь были зелёные, пол деревянный, по стенам зеркала. Пахло старым деревенским домом – сложная смесь запахов пищи, скота и человека. А прямо напротив входа висела большая растяжка, на которой из гигантского яйца вылуплялся весёленький цыплёнок, этакий петушок – золотой гребешок, и, закатив глаза, готовился петь. Над его головой вместо солнца висела жёлтая эмблема птицефабрики.

И всё бы ничего, но фабрика называлась «Золотой кукарил», что неизменно вызывало у Ромы неприятное чувство. Потому что кукарил был не самым приятным персонажем итилитских сказок. Птицезмей, в нём, конечно, предполагалось что-то от петуха, но в целом тварь мерзкая, жила в болотах, и встретить его не хотелось никому. Поэтому и говорить о нём вроде как не полагалось – ещё накличешь. Назвать так птицефабрику мог только человек, напрочь лишённый страха – и мозгов заодно.

Рома прошёл вслед за баянистом в зал.

Первым делом, входя в новое помещение, он всегда оценивал акустику. Это было уже на уровне рефлекса – уши включались сами. Здесь акустика была никакая: плоская вытянутая комната, покатым разошедшийся деревянный пол, чуть приподнятые ряды старых кресел в коричневой обивке из кожзама, тяжёлые гардины в простенке и на дверях. Звук летал в центре хаотично, а у первых рядов, наоборот, тонул, как в подушку. На сцене в одном углу можно было в голос обсуждать соседку по даче, всё равно в другом тебя не услышат. Как петь в таких условиях, Рома не представлял, но похоже было, что тётушек это несколько не волновало: они спокойно ждали, когда принесут костюмы, и потянулись в гримёрку переодеваться.

Избавившись от кулей и баяна, Слава развернулся и пошагал обратно, жадно вставляя в рот сигарету.

– Я покурю, – бросил Роме, натолкнувшись на него глазами.

– А мне у кого спросить? Ну, про оборудование?

– Да тут заведующая, она будет. – Вдруг у Славы что-то вспыхнуло в глазах, он даже остановился и вынул сигарету. – Заведующая тут, короче, знаешь, прямо вот вся... – Он чмокнул губами и обвёл в воздухе округлые формы. – Такая, ты чё! Увидишь – узнаешь.

В этот момент, как по заказу, из фойе послышалась поступь каблуков, и в зал вплыла высокая полнотелая шатенка и двинулась к ним. Слава обернулся и замигал Роме так яростно, что можно было подумать, у него тик.

– А, вы из Итильска? Уже приехали? – говорила шатенка. Голос у неё оказался громкий, но при этом полный томности. Роме показалось, что он видит Стешу в лучшие годы – те же царственные движения, тот же гонор, только у этой благодаря молодости всё окрашивалось бордовым флёром сексапильности. – Я вас помню, вы у нас были. – Она равнодушно глянула на Славу сверху вниз, тот закивал и что-то замычал. Взгляд её скользнул дальше – на Рому: – А вы – первый раз, да? Марина. – Подошла и сунула ему свои длинные, полные пальцы, улыбнулась широким, красно накрашенным ртом. Пальцы у неё были деревенские, шершавые и казались старше своей хозяйки. На лице переливался разными цветами целый арсенал косметики. Рома отметил, что издали она выглядела лучше. – Вы – играть? – Заведующая усердно пыталась держать городское выражение, как его понимала – официальное и надменное.

– Нет, я – рулить. Звукорежиссёр я, – уточнил Рома.

– А-а! – протянула заведующая и вдруг заулыбалась, забыв про наигранную официальность. – Так вы вместо нашего Вовы сегодня? И дискотеку, да? – Улыбка у неё оказалась хищной и жадной, а глаза вспыхнули.

– И дискотеку, да, – отвечал Рома, глядя, как Слава, отступая к дверям спиной, подмигивает с сальной миной. Рома поморщился: – Я хотел спросить, где у вас тут что.

– Пойдёмте, я всё покажу. – И она двинулась за кулисы, раскачивая кормой. Рома потянулся следом. Корма у неё была что надо, да и вообще вся плотная, до хруста, Слава не соврал.

С другой стороны сцены оказался такой же закуток, но заваленный оборудованием. Заваленный в прямом смысле слова: микрофонные стойки, коробки со шнурами и микрофонами, усилители – всё лежало вповалку. Рома чуть не крикнул, увидев этот бардак.

– Вот, здесь всё, – говорила Марина, пока он, присев, пытался разбираться. В полумраке закулисы видно было плохо. – А пульт там, в середине зала, видели?

– Ага, – отозвался Рома, перебирая микрофоны. Его мучили мрачные опасения, что половина из этого может попросту не работать, а что именно, ему предстоит выяснять в процессе наладки звука. А ведь была мысль привезти хотя бы микрофоны. Но Стеша не дала, убедила его, что там всё есть. Есть, как же. Надо было её не слушать.

– А для дискотеки мы колонки выносим в фойе. И там другой пульт. Точнее, ноутбук, – ворковала Марина.

– Ага, – снова отозвался Рома, как вдруг почувствовал, как мягкая коленка скользнула у него по спине. От неожиданности он обернулся.

– Выпить хотите? – буднично спросила Марина.

– Нет. – Рома поднялся. Она оказалась совсем близко и смотрела без тени смущения, с какой-то животной прямоотой. – Перед работой не пью. А свет у вас здесь где включается?

– Там, – она шагнула к стене и щёлкнула рычажком. Яркий белый свет резанул по глазам, выхватывая всё жёстко, контрастно. – Ладно, если что, я рядом, – сказала Марина и уплыла, вдавливая в пол каблук.

Час до концерта он провёл в мыле, меняя микрофоны, пробуя разные шнуры, пытаясь добиться хоть мало-мальски приличного звука. Задёргал тётушек, задёргал Славу, требуя от них то попеть, то поиграть, расставляя их на сцене, пробуя все возможные варианты. Тётушки стали ворчать, Слава лениво посмеивался: «Да забей, Ромыч. Лучше не станет. И никто не услышит». Это Рома понимал, но плохо делать не любил и не умел.

В итоге, когда впустили зрителей, он сумел добиться хотя бы того, что всех выступающих было слышно, а баян не покрывал голосов.

Зал был не полный – человек тридцать работников птицефабрики средних лет, но принимали районных музыкантов хорошо. «Просторы» и «Зори» в очередной раз Рому удивили: они скооперировались и пели вместе. Оказалось, они прекрасно знали репертуар друг друга. Сперва выступали «Зори», и все тётушки дружно вышли в белых платьях и красных очельях. Пели лирическое, заунывное. Зрители раскачивались в такт. Отпев, они вместе со Славой чинно раскланялись и ушли за кулисы, осталась одна Наталья Петровна, обладавшая тремя регистрами. Она спела сольно «Азь коразь» и заунывную «Торонуру». Зал расчувствовался, кто-то всхлипывал, хотя наверняка слов не понимали. Наталье Петровне, когда та удалялась, кричали «браво». Ансамбль тем временем переоделся в русские сарафаны, один Слава переодеваться не стал, только подпоясался цветным поясом. В новом амплуа пели плясовые. Под строевую-хоровую «Выходила молода» зал подпевал и аплодировал.

Потом все оттуда потекли.

Музыканты пошли переодеваться, и Рома снова забегал, убирая оборудование. Пока он челноком метался между закулисем и сценой, собирая микрофоны и сворачивая шнуры, откуда-то взялись два быковатых молодца, отключили и утащили боковые колонки. Закончив, составив стойки, сложив микрофоны по коробкам, а шнуры повесив на крючки, которые для этих целей обнаружили на стене, Рома почувствовал горечь, что всё это ненадолго, и местный звукарь, вернувшись, вернёт всё, как было. Кинув прощальный взгляд на временный порядок в кладовке, он вспомнил про дискотеку и пошёл в фойе.

Там уже всё оказалось готово: молодцы не только вытащили колонки, но и подключили светомузыку – под потолком, создавая ностальгическую атмосферу девяностых, разбрызгивал серебряные искры световой шар. Вдоль стен стояли столы с выпивкой и закуской, возле них толпились люди – оказалось, что никто не ушёл, просто все перетекли сюда. Поодаль примостился стол на железных тонких ножках, похожий на школьную парту, на нём стоял ноутбук – Рома догадался, что это и есть его рабочее место.

– Ну, как вам? – Слева нарисовалась Марина. Она успела переодеться в яркое красное платье, глухое, без декольте, но с открытыми руками, так что Рома в полутьме её не сразу узнал. – Можно уже начинать? Или вы отдохнуть хотите?

– Да не знаю даже... Как у вас тут обычно? Народ-то ещё будет?

– Будет, будет. Старпёры сейчас выпьют и уйдут, – она кивнула к столам, саркастически скривив губы. – Они обычно не остаются. Дискач – для молодёжи, правильно же? Выпить ещё не хотите? – Она посмотрела на него прямо. – Теперь-то можно.

– Рано.

– Бесплатно. Спонсор башляет.

– С чего такая щедрость? Вроде не праздник?

– У нас всегда так – развлечение и угощение за счёт предприятия. Раз в квартал. У нас директор знает, что людям надо. – Она снова ослабила свой красный рот. В мигающей полутьме Рома видел только его, он казался щелью, лица было не разобрать, но для Марины так было лучше.

Она поймала его взгляд и ухмыльнулась:

– Ладно, давай начинай. Я рядом.

Подмигнула и ушла. В полутьме её движения казались загадочными и манящими. Рома проследил её и наткнулся глазами на Славу, который стоял у крайнего стола и быстро засовывал в рот бутерброды, также не сводя глаз с Марины. Столкнувшись взглядом, Слава поднял руку и помахал, потом закинул стопку водки и продолжил жевать.

Рома отвернулся и сел за раскрытый ноутбук. Папка с музыкой висела на рабочем столе, даже искать не надо. Пробежавшись по составу композиций, Рома порадовался, что захватил с собой флешку – будет чем разбавлять этот треш. А для сохранности собственной психики у него был с собой плеер и вакуумные наушники.

Из зала вышли и проследовали к дверям музыканты. Наталья Петровна заметила Славу, махнула ему. Тот быстро сглотнул, сгрёб с тарелки бутерброд, подхватил стоящий у ног баян и поспешил следом. Рома смотрел в спины уходящим так, будто они оставляли его на острове, и остров этот был необитаем, только дикие звери населяли его.

Чувство это усиливалось по мере наполнения фойе.

Ладно, в двенадцать карета превратится в тыкву, и меня отсюда заберут, подумал он и врубил музыку.

Уже через полчаса всё закрутилось как надо. Народ разогрелся. Грохотало, шар разбрасывал колотый свет на пол, стены, на извивающихся людей. Контингент сменился – притащилась молодёжь, старшие расползлись, те, кто остался, планомерно напивались в дальнем углу. Резвая компания мужиков лет тридцати выкаблучивалась в центре, явно пытаясь привлечь внимание молоденьких девиц. Те держались в сторонке, делали вид, что не смотрят на них. Молодые пацаны кривлялись на периферии. Роме было занятно наблюдать эту чётко соблюдаемую диспозицию. Время от времени к нему подруливал какой-нибудь Коля, Шурик или Толян, наваливался сверху, дыша перегаром и норовя сломать крышку ноутбука, и тогда приходилось стаскивать с одного уха наушник – квадратные ритмы дискотечного музла взламывали мозг – и орать через плотность звука:

– Чего?

– Братан, реально, давай, а! – бормотали Коля, Шурик или Толян. Слышно, конечно, не было, Рома разбирал по губам, мотал головой, отталкивал протянутый пластиковый стакан или целый пузыр с водкой.

– Не могу, – орал. – На работе!

– А чё? – Коля, Шурик или Толян глядели налитыми бычьими глазами на inferнальным светом сияющий монитор и уходили, чтобы скоро заявиться опять, иногда с компанией. Про-

сили что-то поставить. Рома не разбирал, чего им надо, но кивал и переключал композицию. Братаны уходили довольные, что бы он ни включил.

Марина мелькала, но не подходила. Она потихоньку напивалась – Рома замечал это по тому, как менялась её походка и отключивалась попа. Она не плясала, а только прохаживалась туда-сюда с видом хозяйки гостиной. В руках у неё всегда был стакан. Рома отметил, что в таком амплуа она выглядит куда как органичней, нежели днём в роли заведующей. Заметив его взгляд, Марина расплывалась в улыбке, которая теперь была не двусмысленно-игривой, а вполне себе однозначной, поднимала стакан и пила, после чего неизменно облизывала губы. Рома прикидывал, сколько ему надо выпить, чтобы на это повестись.

Он бросал взгляд на часы на мониторе и считал время. В наушниках плыл дарк эмбиент. Под его психоделические разливы то, что творилось вокруг, выглядело совсем уж сюрреалистично. Воздух наполнялся парами алкоголя и потных тел.

Вдруг он понял, что кто-то на него смотрит. Поднял глаза – точно. Стояла у столба и пристально, не сводя глаз, глядела через темноту, толкотню и кривлянье. Зажатая, сутулая, держала тонкие бледные лапки перед грудью, будто прикрываясь ими, тёмные волосы висели плетями, не то грязные, не то мокрые. Мелкая, младше, чем сюда должны бы приходиться. Лет четырнадцать. Одета невзрачно – джинсики какие-то, свитер. Это на дискотеку-то – джинсики и свитер. Рома понял, что уже замечал её в зале, она бродила возле стенки, не выходя в центр, не танцуя, вообще будто не слыша всей этой музыки. Худенькая, маленькая, совсем ещё ребёнок, что она делала здесь? Обидит ещё кто.

Рома попытался ей улыбнуться. Она не ответила. Глазищи на тощем лице смотрели прямо, не мигая и странно, совсем без выражения – ни страха, ни стеснения, ничего. Просто глядели. Роме стало душно под этим взглядом, он отвернулся. Делать ему нечего, как переживать за какую-то девушку. Притащилась, значит, понимает, чем рискует. Это деревня, тут такие законы.

Перед монитором нарисовалось красное и склонилась Марина. Красный рот разрезало до ушей. Она что-то говорила. Рома стянул наушники.

– Хей, диджей! – протянула она пьяно и рассмеялась. – А ты сам-то чё не танцуешь?

– На работе. – Рома привычно кивнул на монитор.

– А чего такой строгий? – засюсюкала она, сжав губы куриной гузкой. – Вовчик всегда танцует.

– Не сомневаюсь.

– Выпей, а. Чё сидишь как пень?

В руке у неё проступил пластиковый стаканчик с водкой. Она сжимала его так, что он хрустел, совала Роме в лицо, норовя пролить всё на компьютер. Он отвёл её руку.

– На работе я.

– Фу, какой, – она скривилась. Но тут же оживилась, склонилась ниже и заговорила интимно, насколько только можно в шуме: – А поставь медляк, а я тебя приглашу, а? Если приглашу, не отмажешься, чмо будешь.

– Это не медляк. Это «белый танец» называется.

– У нас всякий медляк – белый, – сказала она. – Мужиков-то нормальных, думаешь, чо, завалишь? Ждать будешь, всю жизнь простоишь у батарее. Ну, короче, поставь, ага? – И она подмигнула ему, как делают девицы в рекламах, облизнула губы и стала уплывать в темноту.

Рома ухмыльнулся, мотнул головой и хотел было уже натянуть обратно наушник, как вдруг увидел, что в стороне завязывается какое-то дело: местная пацанва собралась кучкой, оттуда вылетали крики, а у стены, вжавшись, стояла та самая малолетка. Бритый паханчик что-то ей втирал.

Не успев оценить обстановку, Рома встал и направился к толпе.

– Я ваще, чё, не с тобой разговариваю? Так отвечай, да, пóняла! – давил паханчик, а остальная пацанва пялилась, хихикала, выкрикивала предложения, как ему нужно себя вести. В воздухе висело напряжение, хотя агрессией пока не пахло. Рома подумал, что всё можно ещё решить на словах.

– В чём дело, братва? – Он вклинился в толпу и подошёл к паханчику.

– Ты чо, из интерната? – крикнул кто-то девчонке. На Рому внимания не обращали. – Да я отвечаю, из интерната! Там дебилы все конченные. И глухонемая, по ходу.

– Мыыыы, мыыыы, – стали мычать за спиной и ржать.

Рома бросил взгляд на малолетку. Она смотрела по-прежнему прямо и совершенно спокойно. Ни капли страха, это ему издалека показалось. Просто стоит, прижавшись к стене, как будто ничего не понимает. Нечеловеческое какое-то спокойствие. Может, и правда больная? Он слышал про интернат для детей-инвалидов в Ведянино. Это бы всё объяснило.

– Да хули она глухая! – осклабился паханчик. – Сечёт всё, отвечаю. – Он схватил девчонку за руку и дёрнул. Её запястье показалось в его кулачище тоненьким, как веточка. – Чё, не нравится? А ты zenки закрой – и айда.

– Эй, давай полегче. – Рома протолкнулся к нему и положил руку на плечо. Паханчик обернулся, но девчонку не отпустил.

– А это чо за гондон? Ты откуда ваще?

Рома знал, что прямых выпадов лучше избегать, он все эти законы жизни выучил ещё в школе, но действовал инстинктом, не подумав и не успев ничего рассчитать. По-хорошему, уйти бы да забыть. Но он уже не мог.

– Это с Итильска, диджей! – крикнул кто-то сзади, прежде чем он успел что-то ответить. Рома спиной почувствовал, что этих, сзади, много.

– Из Итильска – и чё? Сюда пригнал и давай свои предьявы кидать? Сиди за пультом и не вякай!

– Ага. Ты девушку только отпусти, и досвидос, – сказал Рома как можно спокойней. Эти товарищи умеют считывать невербально. Говорить много не надо. Языка их он не знает, а интонации они понимают лучше слов. Как собаки.

– А тебя дерёт? Твоя, что ли?

Рома мельком глянул на девчонку. Она продолжала смотреть всё так же. Ни тени эмоций, ни испуга, ничего. Больная, точно.

– Не моя.

– Да оставь её, Гиря! – крикнул кто-то сзади. – Связываться ещё...

– Долбанутая, отвечаю, – поддержали его.

– А мне ваще по... – начал было Гиря, и как раз в этот момент Рома, который всё продолжал смотреть на девчонку, вдруг понял, что было в этом взгляде: старое насилие, детское, непонятое, но не пережитое, запекшееся на психике, как корка на ране – уродует, но уже не болит. Она и правда ничего не чувствует. И не понимает.

Ему вдруг стало тяжело и тошно, захотелось побыстрее свалить и уже больше никогда в эти глаза не смотреть.

– Айда, пацаны, – сказал он, перебив Гирю. Сказал совершенно спокойно, даже устало. – Не видишь, что ли, – больная. И оно тебе надо?

И вдруг, на удивление, это подействовало: оказывается, Гиря тоже смотрел на неё, и оказывается, его тоже торкнуло. Он уже выпустил её руку и отходил. И все отходили вслед за ним.

Это было как наваждение. Как будто все вдруг почуяли что-то, с чем не хотелось иметь дело. Тяжёлое, жуткое. Рома отходил вместе с ними, то и дело оборачиваясь. Она по-прежнему стояла не шевелясь и пристально, прямо на всех глядя.

Бред какой-то. Нет, забыть, забыть. Было противно и гадко, будто нырнул в реку, а по воде – зелёная плёнка из водорослей. Болеет река, цветёт. Пахнет мёртвой рыбой, и по берегам – грязь, окурки, банки, дерьмо. Мерзость.

Во рту стало кисло.

– Хей, диджей! – нарисовалась возле левого борта Марина. – Ты развязал, что ли?

Рома посмотрел на неё – она была совсем пьяная, но ещё держалась. Видно, знала свою норму. Но о нём, похоже, уже начинала забывать: глаза всё ещё масляные, но рассредоточенные, как в полусне, красный рот кривился в презрительной ухмылке – не к нему даже, а так, вообще, и взгляд скользил по залу, того и гляди уплывёт.

Рома почувствовал обиду. Оказывается, Мариного внимание весь день ему льстило, и смотрел он на неё, как на свою собственность, которой даже можно не пользоваться – она просто есть. Обида усилила предыдущее гадостное состояние.

– Говоришь, выпить есть, да? – спросил он.

– Я говорю? – усмехнулась Марина, но посмотрела на него с любопытством. – Да тут бухла до хера.

И исчезла в темноте, но тут же вынырнула с другого бока, Рома только успел повернуться. Со стаканом и бутером. Сыр уже заветрился, на нём выступила испарина, а хлеб был белый и чёрствый. Рома махом выпил, сморщившись, но бутер есть не стал.

– О, развязал! Ну, с почином, диджей! – обрадовалась Марина и исчезла, и появилась опять, теперь ещё с одним стаканом и бутылкой. – За знакомство? – сказала, наливая.

Чокнулась пластиком. Водка пролилась на пальцы. Рома замахнул, стряхнул ладонь. Его отпускало. Чувство омерзения притупилось, а тоска, которая уже поднималась, замерла, как камни, оползающие с яра, вдруг застывают по непонятной причине. Тоски Рома боялся. Тоска предвещала депрессию, а это всерьёз и надолго. В последний раз он выходил из неё год, ничего не мог делать, жил как во сне. И было это не так давно. Заново туда не хотелось.

Взял у Марины бутылку, налил себе полный, ей половину. Марина нетерпеливо елозила, как будто пританцовывала. Выпили. Рома куснул от бутера, и Марина, взяв его руку, постаралась изобразить киношную страсть, засовывая себе в рот остаток и не спуская с Ромы глаз. Выглядело это комично. Рома прыснул:

– Подавишься.

Марина с набитым ртом тоже стала хихикать, отмахиваясь от него руками.

– Медляк поставь, – сказала, дожевывая.

Рома двинулся к пульту. Стоило сделать шаг, как жар и хмель разлились по телу, с новой силой ударили в голову. Он чувал уже, что ему всё по силам. Хотелось куражиться. И тех глаз не вспоминать.

Он нашёл в списке что-то самое медленное. Марина воплотилась сразу же, будто шла за ним как тень.

– Потанцуем, диджей?

Он усмехнулся и оглядел её. Дебелая, вся как сытный пирожок, она источала желание или умело его изображала. А что? Стоит себе разрешить – и всё заводится. Инстинкты именно потому надо сдерживать, разбудить их – без проблем. Животное в нас ближе, чем кажется. Ближе, чем хотелось бы. Рома замахнул ещё водки, втянул в список следующую медленную композицию, чтобы хватило наверняка, и пошёл за Мариной.

Она уже томно извивалась в двух шагах от стола, недвусмысленно поглаживая себя ладонями по толстым бёдрам, и к ней на полной скорости из темноты плыл какой-то самец. Заметив его, Рома прибавил шагу, поймал Марину за руку и развернул к себе. Получилось даже грубо, она изобразила на лице удивление, но тут же осклабилась, давая понять, что именно так ей нравится. Положила руки ему на плечи. Он положил сперва левую на талию, правую – на плечо, но быстро почувствовал, что это здесь неуместно, как пионерское приветствие. Обе

руки быстро опустились ниже и остановились на изгибе таза – ощупывать Марину дальше пока не хотелось, остатки трезвости ещё сохранялись.

– А ты классно танцуешь, – сказала она полушёпотом и подмигнула.

Рома знал, что грация у него медвежья, поэтому отвечать не стал, но с удовольствием отметил, как от её шёпота в животе потеплело. Сама Марина плавно качалась в его руках, под тонкой синтетикой прощупывались резинки от трусов.

От этого ритма, от пластики, от запаха алкоголя, который от неё шёл, кровь начала закипать. Он чувствовал, что она становится всё ближе и ближе, тепло от её тела уже ощущалось как жар. Вдруг одним рывком, не задумавшись, он притянул её к себе, словно бы вжавшись, вдавившись в мягкое и податливое. Марина охнула, а потом рассмеялась тихим, каким-то домашним смехом, обвила его руками и стала мягко качаться сама и раскачивать его. Кровь запульсировала сильнее.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.